

СИБИРИАДА

АЛЕКСАНДР  
ЛАПТЁВ



БЕЗДНА

# Александр Константинович Лаптев

## Бездна

### Серия «Сибириада»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=41837286](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41837286)*  
*Бездна : роман / Александр Лаптев: Вече; Москва; 2018*  
*ISBN 978-5-4484-7763-8*

#### **Аннотация**

Это книга об отчаянной борьбе человека за свою честь и достоинство. В основе её лежат подлинные факты. Автор ничего не придумал, а взял все события из жизни, как они происходили в действительности – в страшной и невероятной действительности эпохи сталинских репрессий в СССР. Прототипом главного героя стал известный сибирский писатель, герой Гражданской войны Пётр Поликарпович Петров. Прошлое неохотно раскрывает свои секреты. Но без такого знания, без признания совершённых ошибок и без покаяния невозможна будущая счастливая жизнь. Об этом думал автор, когда работал над этой трагической повестью.

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	168

# Александр Лаптев

## Бездна

*Так бойтесь тех, в ком дух железный,*

*Кто преградил сомненьям путь.*

*В чьем сердце страх увидеть бездну*

*Сильней, чем страх в нее шагнуть.*

*Наум Коржавин*

# Часть первая

Глубокая ночь. Просторная комната скудно освещена настольной лампой с зелёным абажуром, стоящей на двухтумбовом письменном столе у высокого прямоугольного окна. Всё погружено в чуткую тишину и словно оцепенело. За столом сидит, сгорбившись, человек. Он торопливо пишет простым карандашом в толстую тетрадь, губы его плотно сжаты. Слышен скрип грифеля о бумагу, тетрадь гнётся и неприятно шелестит. Приглушённый зеленоватый свет выхватывает из темноты крупную голову с высоким покатым лбом; лицо сосредоточено, взгляд пристальный и как бы застывший, словно человек что-то высматривает – там, среди неровно бегущих строчек. Он всецело поглощён своей работой, ничего не видит вокруг, и эта комната не существует для него, он весь в прошлом, в своей боевой молодости – вместе с товарищами готовится дать бой колчаковским бандам. Сердце лихорадочно стучит, в груди разливается жар, сейчас всё решится – жизнь или смерть, победа или сыра земля; вот здесь, под этим деревом, или на поляне среди цветов, а может быть, в пучине вод. Спасенья нет, кто-то сейчас должен погибнуть...

*«Конники остановились под самой высокой скалой, наискось от пулемётной команды. Но партизаны выждали, пока подтянулись задние части и ослы. К удивлению засады,*

белые построились четырёхугольником, в середине которого взметнулись бело-зелёное знамя и хоругви. Утренний туман уходил ввысь, и узкое расстояние позволяло партизанам различать иностранцев и русских.

— Кажется, молебствовать собираются! — пустил один из пулемётчиков придушенный смешок.

Среди четырёхугольника действительно поднялись на какое-то возвышение священнослужители в светлых ризах, и по заречным хребтам загудел бас: “Спаси, Го-споди, люди Твоя...”

Дрожащей рукой Лиза ухватила за плечо Николая. В её васильковых глазах непомерной злобой вспыхнули огоньки. Всё, что недавно ещё определялось ею как смешное и в высшей степени невежественное, но уже не могущее убеждать взвихрённых революцией умов, вставало снова как чудовище, мрачное и отвратительное.

— Ах, негодяи! Да бей же, товарищ Корякин!

Но старший пулемётной команды не успел ещё взять прицел, как винтовочные залпы партизан загремели с левого фланга и в тылу у молящихся. Стреляя из карабина, Лиза видела, как навстречу метнувшейся в горы толпе вздыбились батарейные лошади белых, и всё это животное месиво завертелось клубком, да ещё то, как окружённые, отчаявшиеся итальянцы прыгали в бурлящие волны Ангула.

— Сгоняй лодки! — раздалась команда Николая.

Раненые лошади бились в построениях и, запутываясь,

*пронзительно визжали. Четвёрка выхоленных серо-яблочных тянула вниз, к обрыву, трёхдюймовое орудие. Пушка кувыркнулась с лафета и, раздавив пару передних, булькнула в воду, как сорвавшийся с дерева сук.*

*— А, гады! — хрипел Корякин, смахивая с рябого лица мутные капли пота. Пулемёт его захлёбывался оглушительным лаем.*

*А с левого берега, борясь с волнами, вперегонку пустились остроносые лёгкие лодки с бойцами...»*

Человек услышал звук открываемой двери и оглянулся с недовольным видом. Он запретил жене входить в свой кабинет ночью, когда дверь закрыта, а он, стало быть, работает над очередной книгой, крадёт у вечности ускользящие моменты быстро несущейся жизни. Он специально пишет по ночам, когда всё вокруг словно бы умерло, а душа волнуется и кипит. Тут важен порыв, вдохновение, полёт воображения! Нужно отрешиться от всего обыденного, запереться в кабинете и работать всю ночь до рассвета, не замечая времени, не чувствуя собственного тела, не помня себя. Тогда всё становится легко и достижимо, время исчезает, а линии пространства теряются в бесконечности; то, что было много лет назад, воскресает и живёт, движется и волнует душу, пылает всеми красками на экране внутреннего воображения. Быть может, поэтому читатели с нетерпением ждут его проникновенные рассказы о полной героизма и самопожертвования революционной борьбе сибирских партизан за советскую власть. И

он без устали всё пишет и пишет о своих товарищах, павших смертью храбрых, сгоревших в ярком пламени революционной борьбы. А читатели требуют новых книг, героических образов, волнующих баталий – таких, чтоб захватывало дух! Это потому, что он описывает в своих книгах лишь то, что пережил сам, что видел собственными глазами. Он прошёл тысячи километров по таёжным нехоженным тропам вместе со своими боевыми товарищами, многие из которых остались там – в присаянской тайге, среди вековых деревьев и вросших в землю каменных глыб. Они уже не поднимутся из могил, не расскажут, как боролись и умирали за правое дело, за свободу трудящихся от гнёта помещиков и капиталистов. Его долг и право – поведать всему миру об их подвиге, о несбывшихся мечтах, о несложившихся судьбах...

– Петя, там какие-то люди тебя спрашивают. Их много...

Пётр Поликарпович усилием воли прогнал яркие видения. Он снова был у себя дома, в своём рабочем кабинете, а напротив у дверей стояла его молодая жена – в длинной ночной рубашке и босая; глаза её были широко раскрыты, на лице растерянность и едва ли не испуг.

– Какие ещё люди? Ночь на дворе! Ты на часы посмотри. Половина третьего.

Широкое прямоугольное окно перед письменным столом зияло чернотой. Слабый шум ветра едва проникал сквозь двойные рамы. За окном стояла апрельская ночь – студёная, загадочная, полная предвкушений и неясных намёков. В та-



кие ночи только и работать...

– Они тебя требуют, – снова подала голос жена.

– Меня требуют? – повторил Пётр Поликарпович и, бросив карандаш на стол, решительно поднялся. – На совещание какое-нибудь вызывают. Но зачем было ехать сюда, есть же телефон, я бы и сам дошёл.

Он сделал шаг и вдруг остановился: в кабинет уверенно вошёл военный в синей фуражке и с тремя ромбами в красных петлицах. Наискось через грудь – коричневый кожаный ремень. На правом боку – тяжёлая кобура с лоснящимися раздутыми боками. И – пристальный немигающий взгляд со скуластого тёмного лица.

Пётр Поликарпович хорошо знал эти лица. В какую-то долю секунды перед ним мелькнуло видение: вот он – молодой, бесстрашный, с винтовкой в руках – вместе с красноармейцами уверенно входит среди ночи в избу кулака-миroeда; на столе возле окна коптит керосинка; сам хозяин, его жена и дети смотрят на него круглыми от страха глазами, а он дивится: чего они так боятся? Советская власть никого не наказывает без причины, потому как она – за справедливость, за угнетённый народ и за лучшую долю! И он досадовал на этот глупый страх и ещё на то, что приходится объяснять этим тёмным людям простые истины. Бояться не надо – если только ты не совершил ничего плохого – он твёрдо это знал. И это знание вернуло ему уверенность.

– В чём дело, товарищ? – спросил он, возвышая голос. –

Что за странный визит среди ночи?

Ни один мускул не дрогнул на лице у военного.

– Пётр Поликарпович Пеплов? – произнёс тот без всякой интонации.

– Да, это я.

– Вам придётся проехать с нами.

Пётр Поликарпович выдержал паузу.

– А до утра нельзя было подождать? Позвонили бы, я бы сам к вам пришёл. Что за срочность такая?

– У меня приказ вас доставить в управление.

– Какое ещё управление?

– В управление НКВД. Тут недалеко. Ответите на несколько вопросов – и сразу обратно.

Пётр Поликарпович хотел возразить, но сдержался. Со всем недавно он сам носил военную форму и знал силу приказа. Раз требуют, значит, так надо. Ему ли – бывшему партизану и красному командиру – бояться ночных визитов? И ему ли не знать военные уставы?

Он перевёл взгляд на жену, которая всё так же с испуганным видом стояла чуть в стороне.

– Светлана, пойди к себе, посмотри, как там Иоланточка. Военный поднял одну бровь.

– Это ещё кто?

– Дочь моя. Мы её Иолантой назвали. Красивое имя, не правда ли?

– А сколько лет дочери?

– Два с половиной.

– Есть ещё в доме кто-нибудь, кроме неё?

Пётр Поликарпович хотел ответить резкостью, но сдержался. Лишь пальцы сами собой сжались в кулак.

– Кроме меня, жены и дочери, в доме никого нет! Будут ещё вопросы, товарищ лейтенант? Кстати, как ваша фамилия?

– Дьячков, старший лейтенант госбезопасности, – чётко ответил военный. – И не товарищ, а гражданин.

– Вот как! Почему же я вам не товарищ? – быстро проговорил Пётр Поликарпович. – Я сам бывший военный, воевал за советскую власть. Вы что, книг моих не читали?

Лейтенант сделал нетерпеливый жест.

– Не надо этого...

Пётр Поликарпович снова глянул на жену, которая всё стояла, не в силах шевельнуться, и согласно кивнул.

– Ну, коли так... поехали. – И шагнул через порог.

В прихожей толпились красноармейцы – пять или шесть человек. Пётр Поликарпович приостановился.

– Это ещё что за собрание?

Лейтенант подтолкнул его сзади.

– Выходите. Они все со мной, сейчас уйдут.

Пётр Поликарпович обернулся.

– Да зачем же они пришли?

– Мы тут были по другому делу, а к вам попутно зашли. Не стоять же им на улице! – был ответ.

Красноармейцы вытянулись во фронт и не мигая смотрели на хозяина квартиры. Взгляды были настороженные и какие-то бессмысленные. Пётр Поликарпович хотел сказать какую-нибудь шутку, показать им, что он понимает их службу, сочувствует и вообще... Но лейтенант распахнул перед ним дверь и указал рукой на выход. Пётр Поликарпович лишь кивнул и вышел на площадку.

Уже на улице, садясь в чёрную эмку, он бросил взгляд на свои окна на четвёртом этаже недавно построенного элитного дома для номенклатуры. Свет горел во всех окнах, мелькали тени на занавесках. А из подъезда почему-то никто не шёл.

– А почему они не выходят? – спросил Пётр Поликарпович с тревогой.

– Выйдут сейчас, – заверил лейтенант, распахивая заднюю дверцу. – Устраивайтесь поудобнее!

Пётр Поликарпович, нагнувшись, полез внутрь и только тогда увидел сидевшего в углу военного в фуражке. Тот молча смотрел на него и не двигался.

– Здравствуйте, – произнёс Пётр Поликарпович. – Не мешаю?

Ответа не последовало.

Лейтенант уселся рядом с водителем, и машина тронулась.

Странно было ехать по ночному Иркутску. Было полное безлюдье и какая-то могильная тишина. Пётр Поликарпович

всматривался в знакомые дома и пытался осмыслить происходящее. Что это, арест? Не похоже. Да и за что его арестовывать? При аресте положено предъявлять постановление; проводится обыск, арестованного берут в наручники и конвоируют в тюрьму. А он едет свободно, никто ему не угрожает и стволом в спину не тычет. Сказано ведь: туда и сразу обратно! Вот он вернётся домой, напьётся сладкого чаю и ляжет спать. Хотя до утра не так уж много времени, но ему не привыкать: пару часов подремлет – и снова за работу. Всё-таки годы, проведённые в партизанском отряде, чего-нибудь да стоили. Он и сейчас мог бы пойти в партизаны. Сорок пять лет – не бог весть какой возраст. Силы ещё найдутся.

Остались позади улицы Марата, Ленина и Карла Маркса. Машина повернула на улицу Литвинова. Тут уже было посветлей, мелькали по сторонам фигуры военных, иногда проезжала навстречу машина с включёнными фарами. Впереди показалось длинное мрачное здание областного управления НКВД – серый монолит о пять этажей. Все окна здания ярко светились. Пётр Поликарпович был поражён такой иллюминацией. Его дом находился в полутора километрах от этого освещённого огнями здания, а он и не знал, что тут не спит по ночам столько народу. Он-то думал, что он один во всём городе любит работать в ночной тишине.

Машина подъехала к трёхметровым металлическим воротам и остановилась. Приблизился красноармеец с винтовкой, заглянул внутрь. Лейтенант показал ему пропуск, крас-

ноармеец коротко кивнул.

Тяжёлые створки медленно, со скрежетом, разошлись. Машина, переваливаясь с боку на бок, заехала внутрь.

Пётр Поликарпович уже бывал в этом учреждении и даже был лично знаком с его бывшим руководителем — латышом Зирнисом Яковом Поликарповичем. Их сблизила схожая судьба: оба были из крестьян, оба воевали на фронтах Первой мировой, и оба сражались за советскую власть, только Зирнис воевал против Юденича, а Пеплов — против Колчака. Поговорить им всегда было о чём, и во время перекуров и антрактов они дружески сходились и вспоминали былое. Но три месяца назад Зирниса неожиданно сняли с должности, перевели в Москву, а на его место назначили какого-то Гая, но и его тут же заменили. Месяц назад областной НКВД возглавил никому не известный Лупекин. С этим Пётр Поликарпович не успел познакомиться. Уж не к нему ли его теперь ведут? — подумалось. Забавная будет встреча — среди ночи, без всякого предупреждения. О чём же они станут говорить? Уж не о боях ли с Колчаком?

Пётр Поликарпович улыбнулся своим мыслям. Сейчас он расскажет новому начальнику про то, как дрался с белочехами и прочей нечистью, а теперь трудится на другом фронте — пишет книги, в которых воспекает мужество простых советских людей, готовых отдать жизнь за светлые идеалы коммунизма. Этот Лупекин, по слухам, молодой совсем, ещё сорока нет. А уже поднялся на такую должность. Должно быть,

способный, решительный. Настоящий чекист!

Машина остановилась, двигатель смолк. Дверца резко распахнулась.

– Выходи, руки за спину! – раздалась команда.

Пётр Поликарпович не сразу понял, что этот грозный окрик относится к нему. Он глянул снизу на красноармейца.

– Ты чего орёшь? Перепутал спросонья?

– Не разговаривать! Выходи, а то применим силу!

Пётр Поликарпович снова вспомнил Зирниса и то, с каким уважением к Петру Поликарповичу относились люди в погонах. Тяжко вздохнув, он полез наружу.

Внутренний двор управления был широк и выглядел незнакомо и зловеще. Было такое ощущение, будто они вдруг попали в другой город, в иное измерение. Знакомый и такой приятный Иркутск остался очень далеко. И люди здесь другие – чем-то озабоченные, торопливые, со злыми лицами. Где-то там, за тяжёлыми железными воротами, стояла тихая весенняя ночь, а здесь словно бы готовилась войсковая операция, всё было пропитано тревогой и подспудным страхом.

Петра Поликарповича повели куда-то внутрь и вниз. Всё часовые с винтовками и немигающим взглядом застывших глаз, скрипучие железные двери, решётки и крепкие запоры; время от времени слышались отрывистые возгласы: «Стой, кто идёт?» – затем грохот ключей и лязг железных замков; Пётр Поликарпович чувствовал себя всё хуже: голова стала тяжёлой, ноги налились свинцом, хотелось крепко зажму-

риться и очутиться в другом месте – пускай даже не дома, а где-нибудь в лесу, в землянке, на болоте, у чёрта на куличках!

– Куда мы идём? – спросил он, когда они остановились у очередной решётки.

– Скоро прибудем, – бесстрастно ответил лейтенант. Он был всё так же мрачен и неразговорчив.

Пётр Поликарпович не выдержал:

– Слышь, браток, я что, арестован?

– Нет, – был ответ.

– А как же это понимать? – развёл он руками. – Куда вы меня ведёте?

– Всё, пришли, – произнёс лейтенант, останавливаясь перед железной дверью, углублённой в глухую каменную стену. Подошёл сбоку боец со связкой ключей и стал возиться с неповоротливым замком.

Дверь наконец открылась.

– Заходите!

Пётр Поликарпович недоверчиво заглянул внутрь.

– Но там никого нет!

– Побудете здесь некоторое время. Вас скоро вызовут. Заходите же! – повторил лейтенант с нажимом.

На негнущихся ногах Пётр Поликарпович шагнул через порог. Дверь с лязгом захлопнулась за спиной. Он обернулся, хотел сказать что-нибудь лейтенанту, но увидел перед собой отвратительную, всю в ржавых потёках железную дверь;



в центре её, на уровне живота, был квадратный вырез, закрытый снаружи задвижкой, – пресловутая кормушка. Это была обычная тюремная камера. Деревянный, привинченный к цементному полу стол, табурет и деревянная лежанка у стены. Над дверью тускло светила лампочка. В узком проёме напротив – зарешеченное отверстие для притока воздуха. Более – ничего! Зирнис показывал ему почти такую же камеру два года назад, и тогда она показалась ему вполне сносной, ничуть не страшной. Он даже пошутил, что не прочь провести в ней недельку, отдохнуть от дел. Вспомнив об этой шутке, Пётр Поликарпович качнул головой: вот и исполнилась мечта!

Горькая улыбка едва обозначилась на усталом лице и сразу же погасла. В самом деле, весёлого было мало. Он вспомнил растерянное лицо жены, её испуганные глаза, безвольно опущенные руки. Простоволосая, босая, она стояла среди толпы вооружённых людей в ночной рубашке и даже не замечала этого. Что-то теперь с ней?

Пётр Поликарпович тряхнул головой, решительно направился к двери. Крепко стукнул кулаком.

Квадратное окошечко тут же открылось.

– Чего стучишь? – послышался недовольный голос.

– Скажи там своему начальству, пусть поторопятся. У меня дел много. Некогда тут долго прохлаждаться.

– Нам не положено ничего передавать.

Окошечко захлопнулось. Пётр Поликарпович снова по-

стучал.

– Меня обещали вызвать! Я тут что, до утра сидеть должен?

Ответа не последовало.

– Я товарищу Лупекину буду жаловаться! Если сию же секунду ты не доложишь...

Дверь внезапно распахнулась.

– Ну чего вы кричите? Следователи сейчас все заняты. Лягте вон, поспите. До утра есть время. А днём тут спать не положено. В шесть часов подъём.

– Какой подъём? Я утром домой поеду. У меня послезавтра областная конференция, доклад нужно готовить. Я писатель. Пеплов! Слышал о таком?

Красноармеец переступил с ноги на ногу, протяжно вздохнул.

– Слышал. Вы ещё партизанили. Я вас в нашем клубе как-то видел. Вы там знатно говорили.

– Вот и молодец! А ты что, давно тут служишь?

– Недавно. Вы это... уж потерпите до утра. Нельзя мне с вами тут... У нас с этим строго. Могут и турнуть. Хотите, я вам воды принесу?

– Ну, давай, – сказал Пётр Поликарпович. – А ты не можешь спросить там, чего хотят-то от меня?

– Нет, не могу. На то есть следователи. Тут много разного народу бывает, каждую ночь привозят. Всех сперва допрашивают, а после...

– Что, отпускают? – не выдержал Пётр Поликарпович.

Красноармеец словно бы запнулся, бросил быстрый взгляд и ответил с расстановкой:

– По-всякому бывает. Иных увозят в городскую тюрьму, а в основном все здесь сидят.

– Но кого-то ведь и отпускают? – подсказывал Пётр Поликарпович.

– Этого я не знаю. Откуда мне знать? – буркнул красноармеец. – А воды я сейчас принесу. Это можно...

Через минуту в кормушке показалась большая алюминиевая кружка, до краёв наполненная прозрачной, пахнущей железом водой.

– Спасибо, браток. – Пётр Поликарпович бережно взял кружку и стал жадно пить. Вода была жёсткая и невкусная, но это уже не имело значения. Вдруг вспомнились партизанские тропы, как они глотали пригоршнями мутную болотную воду, делали в консервных банках мучную болтушку на этой воде и заедали похлёбку диким чесноком без соли и без хлеба. И всё казалось вкусным и единственно правильным. Одно слово: молодость! Всё нипочём, и любое дело по плечу.

Допив воду и стряхнув остатки на цементный пол, Пётр Поликарпович снова постучал в дверь. Та вдруг распахнулась на всю ширину. На пороге стоял незнакомый долговязый парень с оттопыренными ушами, в гимнастёрке и галифе.

– Ну чего тебе неймётся? В карцер захотел? – произнёс

грубым голосом. – Сказали сидеть тихо, знай себе, сиди. Ещё раз стукнешь в дверь, я тебе по-другому объясню!

Пётр Поликарпович почувствовал, как зашумело в голове.

– Ты как разговариваешь, щенок! Молокосос! Я тебе в отцы гожусь! Я кровь проливал за советскую власть... контру стрелял вот этой самой рукой, а ты, сопляк...

Парень вдруг шагнул к нему и с силой толкнул раскрытой ладонью в лицо. Голова резко дёрнулась, так что шейные позвонки затрещали, стены рванулись вверх, лампочка вылетела откуда-то из-за спины, и Пётр Поликарпович грохнулся о пол всем весом, со страшной силой ударившись спиной и затылком; в голове ярко вспыхнуло и сразу же погасло. Он погрузился во тьму.

Ночь ли была или уже день наступил – было не понять. Пётр Поликарпович вдруг словно бы проснулся. Увидел себя лежащим на полу, сверху жёлто светила лампочка, грязные неровные стены удерживали потолок. Голова раскалывалась от боли. Он пощупал рукой затылок и ощутил что-то густое и липкое. Поднёс пальцы к глазам и увидел тёмную кровь. Сразу вспомнил удар и падение. Всё это было как будто не с ним. Он видел себя со стороны, как делает строгое внушение лопоухому парню, а тот вдруг налетает на него с искаженным лицом.

Но этого не должно быть! Произошла чудовищная ошибка! Он не должен быть здесь, лежать на каменном полу с

помутившимся сознанием, истекая кровью. Его с кем-то перепутали! Вот оно – объяснение! Он приподнялся на локтях, с надеждой взглянул на дверь: сейчас она раскроется и войдёт улыбающийся лейтенант, скажет: ай-ай-ай! Как нехорошо получилось! Но вы не беспокойтесь, товарищ Пеплов, ударивший вас красноармеец уже арестован, таким не место в Красной армии! Произошло досадное недоразумение, от имени командования я приношу вам свои извинения. Сейчас вам будет оказана медицинская помощь, а потом вас доставят домой. Простите нас!

«Простить, пожалуй, можно, – подумал Пётр Поликарпович, поднимаясь с каменного пола, – вот только забыть не получится». Да, он этого не забудет, и при случае...

Замок вдруг заскрежетал, забрякал, повернулся ключ, и дверь раскрылась. В камеру вошёл военный – молодой, подтянутый, с ромбами в петлицах. Лицо хотя и хмурое, но не глупое, не злое – не как у того, который его толкнул.

– Пеплов Пётр Поликарпович? – вежливо спросил военный.

– Да, это я.

– Следуйте за мной!

– Наконец-то. А я уж думал, что про меня все забыли.

В дверном проёме показался красноармеец.

– Руки назад, во время следования не разговаривать, не останавливаться, слушать команды, – проговорил без всякого выражения. – Следуйте за лейтенантом.

Пётр Поликарпович не стал спорить. Сейчас всё разрешится. Главное – покинуть эту жуткую камеру, оказаться в нормальной комнате и объясниться, наконец. Он готов попустить мелочами, не будет требовать излишне сурового наказания для ударившего его обалдуя. Пусть он извинится – и дело с концом!

Минуя ряд разделительных решёток, они прошли длинным подземным коридором, поднялись по бетонным ступеням; снова был коридор, затем короткий переход по холлу с окнами, в которые ярко светило утреннее солнце, и ещё одна лестница. Первый этаж, второй, третий... Пётр Поликарпович хотел спросить, который теперь час, но сдержался. Сопровождающие шли в угрюмом молчании, словно на похоронах. Он понял, что спрашивать бесполезно, и стал смотреть себе под ноги. Ноги мягко ступали по красной ковровой дорожке, положенной на деревянный паркет. Точно такая дорожка была в здании крайкома. И коридоры почти такие же – узкие и длинные, с высокими потолками, а по бокам всё двери, двери...

Они вдруг остановились. Пеплов поднял голову и прочитал на табличке: «Ст. следователь, капитан ГБ Чернов А. В.». Лейтенант пихнул дверь.  
– Заходите...

Пеплов сделал несколько шагов и остановился. Кабинет показался ему очень уютным, почти домашним. В дальнем конце стоял массивный стол тёмно-оливкового цвета, за ко-

торым сидел человек в военной форме. Он не поднял головы, продолжая что-то писать в раскрытую папку. На стене за ним во всю высоту – портрет Сталина: вождь был в военном френче и стоял чуть боком, опираясь на трость; глаза смотрели вдаль, а лицо такое доброе и немножко грустное. Пётр Поликарпович сразу почувствовал себя легче. Сталин тут – значит, всё хорошо. Мир не перевернулся, а все недоразумения скоро разрешатся. Вот и дерево за окном растёт как ни в чём не бывало. И нет ему дела ни до камер, ни до страданий людских. Чёрные ветви его раскачиваются на ветру и тянутся к синему небу, к солнцу. День обещал быть ясным, солнечным. Ночной кошмар развеялся, как сон. Скоро он будет дома, и всё пойдёт по-прежнему.

Военный вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на вошедших.

– Пожалуйста, проходите. – Живо поднялся и подошёл, протягивая руку для пожатия. – Если не ошибаюсь, Пётр Поликарпович Пеплов, наш знаменитый писатель?

Пётр Поликарпович с внезапно нахлынувшим чувством крепко пожал руку и коротко кивнул.

– Да, это я. А вас как величать?

– Чернов Андрей Викторович, капитан госбезопасности, следователь по особо важным делам. Пожалуйста, садитесь.

Пеплов шагнул к стулу с высокой прямой спинкой и аккуратно сел.

– Что это у вас? – воскликнул следователь чуть не с испу-

ГОМ.

– Где?

– На затылке. Кровь как будто?

Пеплов поднёс ладонь к голове и ощутил под пальцами коросту.

– Это я в камере упал, затылком ударился о каменный пол. Даже сознание потерял.

– Вот как? Как же это получилось? – Следователь быстро прошёл обратно и сел на стул. Он быстро овладел собой, теперь на лице его читались удивление, сочувствие, заинтересованность. Видно было, что это хороший, «человечный» человек.

– Меня охранник толкнул, – сказал Пеплов. – Я его только спросил, почему меня тут держат, а он взял и двинул меня. Я сильно затылком ударился, когда падал. Даже сознание потерял. У меня такое впечатление, что у этого охранника неладно с головой. Таким не место в органах! Я бы вас просил провести с ним беседу.

Чернов едва заметно улыбнулся и опустил голову.

– Хорошо, я разберусь. Виновный будет наказан, если только он действительно толкнул вас без всякой на то причины.

Пеплов удивлённо воздел брови.

– А вы полагаете, что могла быть причина?

– Я вам безусловно верю, но я должен буду опросить и этого человека, а также свидетелей, если они там были. Вы



же понимаете, что мы не можем наказывать человека, не получив исчерпывающих доказательств его вины! – Сказав это, следователь посмотрел на Пеплова таким ясным и хорошим взглядом, что тот смутился.

– Да, пожалуй, вы правы. Только не считите, что я как-то особенно настроен против него. Просто обращаю ваше внимание на его странное поведение. Сегодня он меня толкнул, а завтра кого-нибудь другого. Так не годится. Слухи пойдут нехорошие. Разве для этого мы устанавливали советскую власть и прогоняли буржуев?

– Хорошо-хорошо, я всё понял и разберусь, – снова заверил следователь. – Я вас, уважаемый Пётр Поликарпович, вот о чём хотел спросить...

– Да, конечно, я вас слушаю.

– Скажите, вы знаете Яковенко Василия Григорьевича?

– Васю Яковенко? – воскликнул Пеплов, подаваясь вперёд. – Конечно, знаю, это мой старинный друг, боевой товарищ. Мы с ним вместе партизанили в Канском районе. Он был председателем совета Канской партизанской армии, а я в это время возглавлял совет Баджейской партизанской республики. Под началом Яковенко было тысяч пятнадцать штыков. А сам могучий такой мужик, просто богатырь. Его у нас все очень уважали. Он потом в Москву перебрался, стал наркомом земледелия, членом Центральной ревизионной комиссии, был референтом у Калинина. Замечательный человек! Смелый, отважный, преданный делу революции.

Ничего для себя не требовал. Такие, как он, и победили белогвардейскую сволочь. Жаль, что наши с ним пути разошлись. – Пётр Поликарпович испустил печальный вздох и покачал головой.

Следователь очень внимательно слушал его объяснения, потом вдруг легко поднялся и прошёл к окну, отбросил штору.

– День-то какой, а, Пётр Поликарпович! Лето скоро. Я каждый год езжу на Ангару, на остров Любви. Ставим там шалаш и живём с женой целый месяц! Готовим похлёбку на костре, рыбку ловим, загораем. Вы любите рыбалку? – вдруг обернулся и в упор посмотрел на Пеплова.

Тот растерялся от неожиданности.

– Конечно. Почему же нет? В молодости я рыбачил у себя в деревне, мы кормились рыбой, а потом и в партизанском отряде пригодилось. Знаете ведь, как с продуктами было в Гражданскую. А сейчас некогда рыбачить. Всё дела да заботы. Вот книгу очередную пишу. Голову некогда поднять.

– Как же, знаю. Читал я ваши книги! – усмехнулся следователь.

– А что вы читали?

– Да много чего. И новую рукопись видел, её вчера изъяли у вас при обыске.

Пётр Поликарпович побледнел.

– У меня что, дома был обыск?

– Конечно! Вот тут у меня протокол. – Следователь быст-

ро прошёл к столу и взял машинописный лист, стал читать: – При обыске изъяты паспорт, профсоюзный билет, удостоверение члена СП СССР, печатная машинка «Торпедо», дробовое ружьё, рукописи, письма.

Пеплов поднялся на дрожащих ногах.

– Но зачем это? Что вы там искали? Да ещё в моё отсутствие! Я бы вам сам показал всё что нужно! Вы наверняка перепугали мою жену. Ваш сотрудник сказал вчера, что меня пригласили для беседы и сразу же отпустят. Объясните же наконец, что происходит!

Следователь выслушал эту тираду с полным самообладанием, на лице его играла хитрая улыбка.

– Успокойтесь, пожалуйста! – почти ласково произнёс он. – Я сейчас задам вам несколько вопросов, и если вы скажете мне правду, то можете быть свободны, поедете домой, к своей жене и дочурке. И рукописи вам вернут. Вы согласны на такой вариант?

– Да, чёрт возьми, конечно, я согласен! Задавайте свои вопросы, хотя я не понимаю, зачем понадобился весь этот цирк.

– Ну, цирк или не цирк, это пока ещё рано говорить. А вот вы вспомните: когда вы в последний раз виделись с Яковенко?

– Тоже спросили. Я не припомню, когда его видел. В Москве мы в последний раз виделись, если мне не изменяет память. Года четыре назад, да и то это было мельком.

Он ведь человек занятой, да и мне некогда было. Мы тогда с Алексеем Максимовичем затевали новую серию книг...

Следователь сделал нетерпеливый жест:

– Погодите, о Горьком сейчас не надо. Вы лучше о вашей беседе с Яковенко расскажите, и как можно подробнее.

– Да нечего мне рассказывать! Мы посидели в гостинице, выпили по стопке, как водится, помянули боевых товарищей, а потом разошлись. А в чём дело? Почему такой интерес к Василию Григорьевичу? С ним что-нибудь случилось?

– Случилось, – невозмутимо ответил следователь. – Девятого февраля гражданин Яковенко арестован, изобличён как враг народа и уже дал признательные показания.

– Василий Григорьевич арестован? Этого не может быть! Вы что-то путаете!

– Вы присядьте, – с нажимом произнёс следователь. – Я вам сообщаю факты. У меня имеется копия протокола допроса, в котором гражданин Яковенко признаётся в террористической деятельности и называет ряд лиц, причастных к созданию контрреволюционной повстанческой организации в Москве, Красноярске, Канске, Иркутске и в других городах. Под руководством двурушника Бухарина создана целая сеть по всей стране, в это гнусное дело вовлечены сотни людей. И вы в их числе.

– Да вы с ума сошли! Какая сеть? Зачем ему это надо было? Василия Григорьевича лично Ленин знал! В двадцать первом году Владимир Ильич подписал декрет о его назна-

чении наркомом земледелия. Яковенко кровь проливал за советскую власть!

Следователь согласно кивнул.

– Да, конечно, никто с этим не спорит – проливал кровь и занимал высокие посты. Но речь сейчас в общем-то не о нём, а речь теперь идёт о вас, Пётр Поликарпович! Показания о вашем участии в контрреволюционном заговоре дал ведь не только Яковенко, но и другие участники заговора.

– Другие?... Очень интересно. И кто же это?

Следователь взял со стола ещё одну бумагу и стал читать:

– Лобов Фёдор Антонович, Ефим Захарович Рудаков, Николай Михайлович Буда, Феликс Афанасьевич Астафьев, Лавров Вадим Михайлович, Неупокоев Виктор Поликарпович, Малышев Николай Иванович, Жилинский Владимир Иванович, есть ещё ряд лиц, с которыми сейчас работают следователи. Все они указывают на вас, Пётр Поликарпович. – Опустив лист, следователь равнодушно посмотрел на Пеплова. – Что вы на это скажете?

– Я скажу, что это полнейший бред! Я почти никого не знаю из тех, кого вы сейчас назвали. Да и зачем мне участвовать в каких-то там заговорах против советской власти? Или вы полагаете, что я сошёл с ума?

– Я пока что ничего не утверждаю, а просто сообщаю о признаниях ваших знакомых. Быть может, они вас оговаривают. Это не исключено. Но чтобы доказать факт оговора, вы должны чистосердечно рассказать всё, что вам известно

об иркутском центре.

– Но я ничего не знаю ни о каком центре! – снова вспыхнул Пеплов. – Как я могу говорить о том, чего не знаю?

Следователь обошёл стол и встал перед ним. Он по-прежнему был очень спокоен и по-хорошему рассудителен.

– Ну допустим, – сказал он, глядя Пеплову в глаза, – я вам верю, и вы действительно ни в чём не виноваты. Но почему тогда на вас указывают сразу восемь человек? Все они уже сознались в контрреволюционной деятельности, и все называют вас активным участником организации, и даже – одним из её лидеров! Как вы можете это объяснить?

Пётр Поликарпович пожал плечами с видом полнейшей растерянности.

– Я уже сказал, что всё это полная чушь! Из восьми вами названных людей я знаю лишь троих, да и с ними виделся очень давно.

– Всех вам знать не обязательно. Ведь не обязан же знать руководитель всех своих подчинённых, особенно когда их так много. А вот руководителя знают все. Мне ли вам это объяснять, уважаемый Пётр Поликарпович!

– Тогда я не знаю, что вам сказать. Это или провокация, или...

– Ну же, договаривайте!

– Или и на самом деле существует антисоветский заговор, а меня решили опорочить таким вот подлым образом.

– Во-от, это уже лучше! – удовлетворённо протянул сле-

дователь. – Вы уже признаёте, что заговор возможен. Так помогите же нам! Назовите всех тех, кто мог бы участвовать в антисоветском заговоре, и мы выявим всех этих гадов, а ваше доброе имя очистим от наветов.

– Да и я бы рад их назвать, но я действительно ничего не знаю! Я уже сказал, что знаком лишь с Яковенко Василием Григорьевичем, а ещё я знаю Лаврова Вадима Михайловича, он работает референтом в обкоме, я видел его раза три всего, да и то мельком. Ещё я знаю Лобова Фёдора Антоновича. Но с ним я давно потерял всякую связь. Году примерно в двадцать пятом мы с ним встречались в Красноярске, а с тех пор – ни слуху и ни духу. Понятия не имею, что с ним теперь.

– Лобов арестован и также дал признательные показания. Он показал среди прочего, что завербовал вас в эсеровскую повстанческую организацию. И именно в Красноярске. Ведь вы состояли в партии эсеров?

– Да вы что! Я никогда не состоял ни в каких партиях!

– Отчего же? – просто спросил следователь. – Тогда это было модно. Все где-нибудь да числились.

– Когда я воевал с Колчаком, мне некогда было думать об этом. А потом уже и не нужно. Я семь лет носил винтовку, повсюду уничтожал врагов советской власти. И мне нет нужды доказывать свою преданность делу социализма. Понимаете вы это? Я с оружием в руках защищал советскую власть! Какие ещё могут ко мне быть вопросы?

– Люди меняются с годами. Вы не хуже меня знаете, что

стало с этим недоноском Троцким и его приспешниками. Горького подло отравили. Сергея Мироновича Кирова злодейски убили. И даже на товарища Сталина подняли руку. Но мы эту руку вырвем с корнем! Мы не позволим всякой сволочи вставать у нас на пути!

– Да, конечно, вы всё правильно говорите! Но я-то тут при чём? – воскликнул Пётр Поликарпович. – Я тоже возмущён до глубины души, и если потребуется, снова возьму в руки винтовку и стану бороться с врагами революции! Только покажите мне их!

Следователь пристально посмотрел на него.

– Вы сейчас искренне это говорите?

– Конечно! Покажите мне врага, и я его уничтожу! Рука не дрогнет.

Следователь опустил голову и едва заметно усмехнулся.

– М-да... Ваш соратник по писательскому цеху почти то же самое говорил.

– Вы об Алексее Максимовиче?

– О нём. Если враг не сдаётся, то его уничтожают. Кажется, так он однажды выразился?

– Совершенно верно.

– Вот за это его и убили агенты мировой буржуазии! – Следователь помолчал несколько секунд, потом круто повернулся и пошёл на своё место. Усевшись на стул, решительно подвинул к себе бумаги. – Итак, я вас слушаю.

– Но я не знаю, что сказать!



– Но как же? Вы – известный писатель, инженер человеческих душ. У вас зоркий взгляд и неравнодушное, отзывчивое сердце. Неужели вы не замечали вокруг себя ничего подозрительного? Кругом вас плетутся заговоры, совершаются убийства лучших людей, а вы таки ничего не знали? Как же это может быть? Неужели вы так близоруки? Так может, вы занялись не своим делом, а быть писателем – не ваш удел?

Пётр Поликарпович пожал плечами и отвернулся.

Следователь поджал губы.

– Очень жаль. А мы очень рассчитывали на вашу openness. Но я вижу, что мы говорим на разных языках. – Взяв ручку, он стал что-то быстро записывать в лежащий перед ним бланк. Пётр Поликарпович пытался рассмотреть, что он там пишет, но ничего не мог разобрать. Зрение было уже не то. Двадцать лет назад он видел все звёзды в ночном небе, а теперь не сразу может разглядеть человека, стоящего в десяти шагах. Годы берут своё. Да и кропотливая работа над рукописями тоже сказывается. Пять полновесных книг – не шутка! Вот и молодых авторов приходится регулярно читать. Как провели краевую конференцию пролетарских писателей, так просто спасу нет – завалили редакцию романами о домнах и о тракторах, о колосках и о заре новой счастливой жизни. Всё это Пётр Поликарпович внимательно читал и по возможности поправлял. Ему ведь тоже в своё время помогали. Настала пора отдавать долги.

Следователь поставил подпись в конце листа и поднял го-

лову.

– Я вынужден взять вас под стражу, уважаемый Пётр Поликарпович, – сообщил буднично. – До выяснения всех обстоятельств дела.

Пётр Поликарпович почувствовал, как кровь отхлынула от лица, в голове зашумело. Ничего подобного он не ожидал.

– Но погодите! Мне обещали, что меня отпустят! Зачем же меня задерживать? Я вам честно сказал всё, что знал!

Следователь сохранял невозмутимость, говорил деловито, как о чём-то будничном:

– Да, мы хотели вас отпустить, если только вы ответите на все вопросы. Но ведь вы ничего не рассказали по существу дела.

– Но я действительно ничего не знаю! Зачем же я буду выдумывать?

Следователь нажал кнопку под столом, в кабинет шагнул охранник с винтовкой.

– Увести! – последовал приказ.

Пётр Поликарпович поднялся с растерянным видом.

– Но позвольте, на каком основании вы меня задерживаете? Ведь я никуда не денусь! Если понадобится, я приду к вам по первому требованию. Меня дома жена ждёт. Дочери два годика. У меня на сегодня несколько встреч запланировано. Да меня половина города знает.

– То-то и плохо, что знают. Вас могут убить, похитить. Мы не можем этого допустить.

– Да что это за бред? Кто меня станет убивать? Когда я за советскую власть воевал, меня не убили. А тут в мирное время, и вдруг убьют.

– Не надо так часто поминать советскую власть и былые заслуги, – холодно заметил следователь. – Мы все за неё боролись, только каждый на своём участке фронта. Вы лучше припомните все свои контакты с врагами советской власти. И поподробнее. От этого зависит ваша судьба. Мы ещё с вами поговорим об этом. Всё, увести!

Охранник взял винтовку на изготовку.

– Руки за спину! Пошёл на выход!

– Вы совершаете чудовищную ошибку! Я действительно ничего не знаю!

– Все поначалу так говорят, – невозмутимо ответил следователь. – А потом посидят с недельку, подумают-подумают – и начинают понемногу вспоминать. И вы тоже вспомните, Пётр Поликарпович. Советую вам не запирайтесь. Это не в ваших интересах. – И глянул строго на охранника. – Забирай.

Пётр Поликарпович не помнил, как вышел из кабинета. Он словно оглох и ослеп, не понимал, что с ним делается. Знал лишь, что случилось что-то страшное, непоправимое. Его словно бы придавило каменной плитой, он сгорбился, разом постарел. Каждый шаг давался ему с огромным усилием. Временами ему чудилось, что он видит жуткий сон и вот-вот проснётся! Но сон всё длился и длился, а он брёл и

брёл куда-то по тёмным коридорам. Всё вниз и вниз – в чистилище.

\* \* \*

В это время молодая женщина торопливо поднималась по мраморным ступенькам широкой лестницы Иркутского дома литераторов. Лицо её было бледно, кое-как собранные в пучок волосы выбились из-под шляпки, и двигалась она так, словно ничего не видела перед собой. Она распахнула высокую деревянную дверь с резными стеклянными вставками и вошла внутрь.

– Михаил Михайлович у себя? – спросила придушенным голосом и, не дожидаясь ответа, проследовала через прихожую к кабинету секретаря иркутской краевой писательской организации. Вахтёрша решительно поднялась со стула, глаза её сверкнули.

– Михаил Михайлович занят, у него совещание!

Но женщина уже открывала тяжёлую трёхметровую дверь.

В кабинете находились несколько человек; за столом, напротив входа и спиной к высоченному окну, восседал хозяин кабинета – полный большеголовый человек с круглым и сытым лицом. Справа и слева сидели ещё трое или четверо – на стульях и на низеньком диванчике возле стены. Все они разом повернулись к вошедшей и замерли, словно испугавшись. Среди воцарившейся тишины женщина сделала

несколько шагов по паркету и остановилась, хотела что-то сказать, но грудь её сотрясли конвульсии, она прижала к лицу ладони и разрыдалась.

Первым опомнился хозяин кабинета.

– Ну что ты, Светланочка, не надо так убиваться. Всё уладится, вот увидишь, не надо так, пожалей себя! – Он глянул на товарищей, но они сидели с каменными лицами, никто не проронил ни слова. Тогда он подвёл плачущую женщину к дивану и осторожно усадил на самый край. – Выпей водички, на-ка вот, возьми. Давай-давай, сделай несколько глотков, тебе полегчает.

Женщина взяла трясущейся рукой гранёный стакан и поднесла к губам. Вода пролилась ей на колени, она стала машинально стряхивать капли свободной рукой, а из глаз всё текли и текли слёзы. Двое из присутствующих одновременно поднялись.

– Михаил Михайлович, мы пойдём. Надо ещё готовиться к конференции. – И торопливо вышли один за другим. В кабинете остались трое: третьим был черноволосый мужчина с большими грустными глазами. Он молча смотрел на плачущую женщину и думал о своём. Потом вздохнул и перевёл взгляд на товарища:

– Миша, нужно что-то делать. Надо вызволять Петра. Звони в серый дом, пока ещё не поздно.

Хозяин кабинета молча прошёл к своему столу, сел в чёрное кожаное кресло.

– Не знаю даже, – пробормотал неуверенно. – Может, всё ещё обойдётся?

Женщина всхлипнула, подняла заплаканные глаза.

– Нас с дочерью из дома выгоняют. Велели выметаться из квартиры в двадцать четыре часа. А там все наши вещи, одежда, мебель... Куда мы пойдём?

Мужчины казались поражёнными таким известием.

– Из дома выгоняют? – переспросил один.

– Но как же? – воскликнул другой. – Какое они имеют право? Светлана, может, ты чего-то не так поняла?

– Они весь дом перерыли, подушки штыком кололи, фарфоровые чашки побили, прямо об пол. Зеркало в прихожей треснуло. Дочку напугали до смерти, я её едва успокоила. Оставила пока у соседки. А сама вот к вам... Что же нам делать? Что с Петей? Где он? Я должна его видеть!

Хозяин кабинета помедлил секунду, потом взял телефонную трубку со стоящего на краю стола чёрного аппарата.

– Приёмную облизполкома мне, да, Яков Назарыча! – Отнял трубку от уха и произнёс вполголоса: – С Паховым попробую поговорить, он наверняка уже в курсе. Поможет! – И снова в телефон: – Да. Это Басов, из писательской организации. Я бы хотел поговорить с Яковом Назарычем... Что? Очень занят? Совещание? Только что началось?.. Ну да, конечно, я понимаю. Да... да... Но вы ему передайте, пожалуйста, что я звонил и очень хотел переговорить. Я недолго отниму, всего пару минут. Скажите, что дело касается извест-

ного писателя Петра Поликарповича Пеплова... да, он арестован сегодня ночью. Жена его сидит тут у меня, плачет. Её из дома гонят с маленьким ребёнком! Общественность волнуется. Да, спасибо, я буду ждать! – И он положил трубку, некоторое время придавливал её рукой, словно пытался что-то сообразить. Потом отнял руку и произнёс раздумчиво:

– Дела-а-а!

Его товарищ пошевелился.

– В обком надо звонить, Степану! Миша, давай звони прямо сейчас. Время дорого.

Тот снова взял трубку.

– Алло, девушка...

Последовал довольно путанный диалог.

Трубка легла обратно на рычаги.

– Тоже очень занят, не может принять, – сказал Басов и медленно сел.

В кабинете стало тихо, лишь с улицы доносился слабый шелест – дерево раскачивалось на холодном ветру, поскрипывая сухими ветками.

– Но что же нам делать? – воскликнула женщина. – Где Петя? Я должна его увидеть!

– Пётр Поликарпович сейчас находится в управлении НКВД, на Литвинова, – тихо проговорил Басов. – Мне уже звонили оттуда. Сказали, что он арестован по подозрению в принадлежности к правотроцкистской контрреволюционной организации и что уже дал признательные показания...

Женщина отшатнулась.

— Какие показания? Вы что такое говорите? Этого не может быть! Это всё враньё!

Басов опустил голову.

— Я и сам этому не верю. Пётр Поликарпович не может быть замешан ни в чём таком, мы все это прекрасно знаем. Но они сказали, что он уже признался... И ещё... в два часа к нам прибудет их уполномоченный для важного сообщения. Мы должны собрать правление к этому времени. Думаю, многое разъяснится. Я сейчас попрошу секретаршу, чтобы она оповестила всех писателей.

— А я? — спросила женщина. — Что мне делать?

Басов посмотрел на товарища, но тот отвёл взгляд.

— Ты, Светлана, тоже приходи. На правление мы тебя пригласить не сможем, но ты посиди в приёмной. Я постараюсь узнать как можно больше. Если удастся, переговоришь с уполномоченным. Это будет лучше всего. Ну и Пахомову я ещё буду звонить. А пока иди домой, отдохни. На тебе лица нет. Тебе сейчас нужно быть сильной, у тебя дочь на руках.

Женщина неуверенно поднялась.

— Вы так считаете? Хорошо, я пойду домой. Который теперь час?

— Половина одиннадцатого.

Женщина неуверенно пошла к двери. На пороге обернулась, губы её снова задрожали.

— Михаил Михайлович, мне страшно! Что с нами будет?



Басов стиснул зубы и проговорил как бы через силу:

– Ничего, прорвёмся. Не впервой.

Женщина вышла, а двое писателей остались в кабинете.

Один стоял возле стола и пристально смотрел на захлопнувшуюся дверь, другой сидел, понурившись, на низеньком диванчике. Каждый думал о своём, и думы эти были невеселы.

Наконец Басов словно бы очнулся. Посмотрел на товарища.

– Исаак, ты что-нибудь понимаешь? Что вообще происходит?

Сидевший поднял голову и глянул большими печальными глазами.

– Плохо наше дело, скоро и нам всем крышка! – проговорил тихим голосом. – Прихлопнут, только мокренько станет.

– Ну уж, скажешь тоже... – через силу возразил Басов. – С чего это нам крышка? Мы ни в чём не виноваты.

– А Пётр, по-твоему, виноват? Ты же сам знаешь, что он самый правове́рный из нас! Если и есть среди писателей по-настоящему преданный революции человек, так это он. Да и по книгам его разве этого не видать?

Басов промолчал, лишь наклонил голову. Возразить было нечего.

Гольдберг продолжил:

– А в Москве что делается? Как убили Кирова, так все словно с цепи сорвались! Бухарин арестован! Это как понимать? Зиновьева с Каменевым расстреляли! Пятакова уби-

ли. Нашего Мартемьяна Рютина прикончили! Ивана Никитича Смирнова – этого чистейшего человека! – расстреляли год назад. А ведь он командовал знаменитой Пятой армией, освободившей Сибирь от Колчака, его у нас называли сибирским Лениным! В двадцать втором году его прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост достался Сталину. А теперь его обвиняют в заговоре и убийстве Кирова. Но ведь он в тюрьме сидел с тридцать второго, а до этого три года был в ссылке в Закавказье! Как же он мог быть заговорщиком? Ведь это же полная чушь! Серго Орджоникидзе застрелился. Томский с собой покончил. И всё им мало! Троцкистов везде ищут. Троцкого давно нет в стране, а они никак не уймутся. А Троцкий, между прочим, был ближайшим соратником Ленина. Кому Ильич доверил создание Красной армии? И где в это время был этот недоносок Сталин?

Басов вскинул голову.

– Ты потише говори! Секретарша услышит.

Гольдберг посмотрел на дверь.

– А ты что, её опасаясь?

Басов усмехнулся:

– Ты думал, органы пришлют нам простую стенографистку?

– Так она из органов?

– Нет, не из органов! Но – по рекомендации. Понимаешь, что это значит? Что я тебе, объяснять всё должен?

Гольдберг лишь покачал головой.

– Дожили, уже в своём кругу нельзя вслух говорить.

– Говорить-то можно, только не обо всём, – заметил Басов. – Неделию назад в Москве арестован Ягода. Можешь ты это себе представить? Самый главный чекист оказался врагом советской власти! И теперь можно всего ожидать. – Он подвинул к себе телефон, стал крутить диск.

Гольдберг медленно поднялся. Ему шёл уже шестой десяток, волосы начали седеть, на лбу явственно обозначилась залысина, кожа на лице одрябла, глаза глядели устало, на всём облике была печать глубокой усталости, какой-то обречённости.

– Пойду я. У меня творческий отчёт назначен на вторник. Готовиться надо, да нет никакого настроения. Как подумаешь о том, что творится в стране, так не хочется ничего...

– А ты не думай! Поздно нам уже думать. Мы своё дело сделали. Теперь другие пусть голову ломают.

Гольдберг остановился, постоял несколько секунд с задумчивым видом, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой и вышел.

– Не забудь к двум прийти! – крикнул вдогонку Басов. – Явка членов правления обязательна!

– Приду... – слабо донеслось из-за дверей.

Басов уже не слушал. Он яростно крутил телефонный диск, будто от этого зависела его жизнь.



В два часа пополудни правление писательской организации собралось в полном составе. Всего было восемь человек – пятеро членов правления и три кандидата. Ждали уполномоченного, тихо переговаривались между собой и бросали тревожные взгляды на резную дубовую дверь. Наконец из приёмной донёсся шум, хлопнула входная стеклянная дверь, радостно вскрикнула секретарша... Басов решительно поднялся и поспешил навстречу важному гостю.

– Пожалуйста, проходите, все уже собрались, ждём вас! – говорил он приятным голосом, обводя рукой присутствующих. – Вот кресло для вас приготовили, вам тут удобно будет.

Черноволосый плотный мужчина лет тридцати – коренастый, большеголовый, с тупым и самодовольным выражением лица – занял предложенное место. На нём была энкавэдэшная форма – гимнастёрка, галифе, сапоги, на голове – фуражка со звёздочкой. Всё это внушало если не трепет, то уважение. И настраивало на предельно серьёзный лад. Впрочем, все заранее были настроены. Военная форма в ту пору внушала трепет любому гражданину СССР.

Гость обвёл присутствующих строгим взглядом и заговорил веско и внушительно:

– Капитан госбезопасности Рождественский. Руководство

областного управления НКВД поручило мне провести среди вас разъяснительную беседу. В рядах вашей писательской организации выявлен контрреволюционный заговор. Вчера арестован всем вам хорошо известный писатель и общественный деятель, а в действительности – отлично законспирированный враг советской власти – Пеплов Пётр Поликарпович. Вот что вы сейчас можете мне о нём рассказать? – И он выкатил на присутствующих свои совиные глаза.

Писатели замерли от неожиданности. Отчего-то всем стало страшно. То ли это капитан так на них смотрел, что мороз по коже продирает, то ли в голосе у него было что-то особенное, а может, в воздухе витало нечто такое, чему нет названия, но что все безотчётно чувствуют – в такие-то моменты решается судьба и всё висит на волоске.

Видя, что никто не расположен отвечать, капитан перевёл взгляд на хозяина кабинета.

– Товарищ Басов, если не ошибаюсь?

– Да, это я, – с готовностью кивнул тот.

– Что вы можете сказать о Пеплове и вообще, – он сделал широкий жест, – о настроениях в подведомственной вам писательской организации? Предупреждаю, что я буду беседовать с каждым из вас персонально, а пока что провожу общую разведку боем, так сказать. Итак, я вас слушаю! Советую говорить всё как есть, начистоту.

Басов окончательно растерялся. Посмотрел на притихших товарищей, те сидели, склонив головы, и, наверное, ругали

себя за то, что пришли на это чёртово правление.

Басов откашлялся.

— Так что, товарищ уполномоченный, настроение у всех нормальное, боевое! Через три недели у нас будет общее собрание, приём новых членов...

— Да я не о том! — досадливо перебил уполномоченный. — Какие ещё члены? Вы хоть в курсе, что в мире происходит? Мировая буржуазия идёт на нас войной, мы окружены врагами со всех сторон! И сразу зашевелилась разная нечисть в нашей стране, подняли голову недобитые троцкисты и зинovieвцы, вся эта шваль. Но наша партия под руководством товарища Сталина ведёт бескомпромиссную войну с предателями и двурушниками. Только что в Москве завершился процесс по делу предателей-троцкистов. Все эти гады расстреляны, но дело на этом не закончилось. Рассадники заразы выявлены во всех регионах, и у нас тоже окопались враги! Для усиления борьбы с троцкистскими диверсантами и шпионами в Иркутскую область направлен негибаемый боец с конторой товарищ Лупекин. Перед органами поставлена задача в кратчайшие сроки раскрыть все центры заговорщиков, выявить и уничтожить врагов советской власти. И мы это сделаем, чего бы нам это ни стоило! Итак, я вас ещё раз спрашиваю: каковы на сегодняшний день настроения в писательской организации? И как так получилось, что вы ничего не знали о деятельности самого видного вашего члена? Или вы обо всём знали, но почему-то молчали? Проявили

политическую близорукость!

— Но погодите! — воскликнул Басов. Лицо его покраснело, голос прерывался. — Почему вы называете Петра Поликарповича врагом советской власти? Это очень достойный человек, его биография всем нам хорошо известна. В Гражданскую войну он воевал в партизанском отряде, занимал руководящие посты. Потом был на партийной работе, овладел профессией писателя и написал несколько очень нужных и правильных книг. Алексей Максимович Горький его горячо поддерживал. Вот Исаак Григорьевич Гольдберг может всё это подтвердить, он тоже состоял в дружеской переписке с Алексеем Максимовичем. Или вы считаете, что Горький ошибался?

Уполномоченный вдруг поднялся с места, лицо его сделалось свинцовым.

— Товарищ Басов, вы занимаетесь демагогией! — Он поднял руку и рубанул воздух. — Вы что, ставите под сомнение работу наших доблестных органов госбезопасности? Мы что, по-вашему, в кошки-мышки играем? Весь мир идёт против нас, а вы тут сидите и ничего не видите у себя под носом! Враг затаился и ждёт удобного момента для атаки, но мы нанесём ему упреждающий удар! Вырвем его жало, растопчем гадину! Уничтожим всех этих недоносков, вырвем с корнем!..

Присутствующие со страхом смотрели на перекосившееся лицо уполномоченного. Тот обводил их гневным взглядом

и, казалось, готов был броситься с кулаками. Басов стоял с открытым ртом, горло его перехватило спазмом, он силился что-то сказать и не мог.

– Даю вам сроку ровно сутки! – чуть успокоившись, молвил уполномоченный. – Чтобы завтра к двенадцати был готов подробный отчёт о настроениях в писательской организации, а также я жду характеристику на этого двурушника Пеплова. Только не надо писать о Горьком и прочую дребедень. Меня интересуют факты его подрывной деятельности. Вам всё понятно?

Басов медленно кивнул. Остальные не проронили ни слова, сидели в застывших позах.

В мёртвой тишине уполномоченный вышел из кабинета. Слышно было, как он, тяжело бухая сапогами, прошёл через приёмную, затем звякнула стеклянная дверь, и всё смолкло.

Басов видел через окно, как уполномоченный по-хозяйски сел в чёрную легковушку и та покатила, пустив за собой сизый дым.

Оторвавшись от окна, он посмотрел на товарищей.

– Что будем делать, господа писатели?

Никто ему не ответил. Лишь Гольдберг поднял голову.

– Петра Поликарповича нужно выручать.

– Да я это понимаю, – ответил Басов. – Но как? Что я для этого должен сделать?

– Напишем объективную характеристику, как оно есть. Я не верю, что он двурушник и заговорщик. Тут какая-то



ошибка, – сказал Гольдберг.

– Хорошо, – удовлетворённо протянул Басов. – Какие ещё будут мнения? Все с этим согласны?

Ответа не последовало. Кто-то отвернулся, иные опустили голову.

– Так что мне писать про Пеплова? О настроениях в писательской организации?

– Пиши одну лишь правду, – снова сказал Гольдберг и поднялся. – Пойду я, дел много.

Остальные тоже вдруг зашевелились и торопливо пошли к выходу, будто надеясь, что всё то плохое, что они здесь слышали, здесь же и останется. А там, снаружи, снова всё станет ясно и хорошо.

Басов смотрел, как они покидают кабинет, и в глазах его появилось тоскливое выражение.

– Николай, останься! – произнёс в спину молодому крепкому мужчине. Тот оглянулся на полшаге и пробормотал едва слышно:

– Я потом зайду, мне надо сейчас в одно место... – И торопливо вышел.

Басов постоял немного, потом сел в своё удобное кресло и подвинул к себе чистый лист бумаги. Лицо было мрачно, но движения чётки и уверенны. Услышав шорох, поднял голову. Перед ним стояла жена Пеплова.

– Михаил Михайлович, – одними губами произнесла она, – что же это?

Басов молча смотрел на её заплаканное лицо и не мог выдать из себя ни слова. Хотелось как-то утешить убитую горем женщину, но утешить её было нечем. Он это знал, и она это знала. Она слышала угрозы уполномоченного, когда сидела в приёмной. И когда уполномоченный уходил, не решилась обратиться к нему – несмотря на всё своё отчаяние.

– Светлана Александровна, – наконец сказал Басов, – я сделаю всё от меня зависящее, обещаю тебе! Сейчас я напишу характеристику на Петра Поликарповича, напишу всё как есть, что он был достойный, честный человек и замечательный писатель. Но ты сама видишь, от нас теперь мало что зависит. Этот капитан, который тут был... я впервые вижу таких людей! Как он с нами разговаривал! Такое впечатление, что он прилетел к нам откуда-нибудь с войны, прямо с передовой! Только ведь нет никакой войны. Или я чего-то не понимаю?

Женщина смотрела на Басова сквозь слёзы, руки её дрожали, лицо осунувшееся, в безобразных бурых пятнах. Это была уже не та жизнерадостная красавица, которую он видел всего две недели назад. Теперь она походила на старуху – измождённую, убитую горем, потерянную.

Басов вышел из-за стола, взял женщину за руку.

– Светлана, пойдём, я тебя провожу до дому. Посмотрим, что там у вас делается. А характеристику я вечером напишу. Это у меня быстро.

Женщина послушно встала и, тяжело ступая, пошла из ка-



– Заходи!

Конвоир толкнул обитую чёрной кожей дверь и отступил в сторону. Пётр Поликарпович перешагнул через порог.

– Проходи сюда, да поживей! – скомандовал следователь, приподняв голову.

Пётр Поликарпович сделал несколько шагов и опустился на стул. Голова кружилась, сердце гулко стучало; ему было нехорошо.

– Пеплов Пётр Поликарпович? – спросил следователь.

– Да, это я.

– Капитан Рождественский, – отчеканил следователь. – Буду вести ваше дело. Хочу сразу предупредить: надо говорить всё как есть, это в ваших интересах. – И он грозно глянул на подследственного.

– Мне нечего скрывать, – ответил Пеплов. – Я ни в чём не виноват перед советской властью.

– Виноваты или нет, это не вы будете решать. Ваше дело – честно и как можно подробнее отвечать на все мои вопросы. Итак... – Он подвинул к себе бланк протокола допроса и, взявши ручку, продекламировал: – Имя, фамилия, отчество.

Пётр Поликарпович ответил.

– Год и место рождения?

– Родился тринадцатого января восемьсот девяносто второго года в селе Перовское Канского округа Енисейской губернии.

– Социальное происхождение?

– Из крестьян. До четырнадцатого года помогал отцу по хозяйству, затем был призван на военную службу.

– Ага, значит, в царской армии воевали? Царю служили?

– Воевал. Как бы я мог отказаться? В девятьсот четырнадцатом мне уже двадцать два стукнуло. Забрили лоб и отправили на войну. У нас в селе всех парней забрали. Почти никто обратно не вернулся.

– Ну хорошо. А потом чем занимались?

– В семнадцатом, когда произошла революция, я домой вернулся. Стал агитировать за советскую власть. Мне поверили. Избрали в ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Сибири. И только мы начали работу, как на нас Колчак пошёл. Пришлось снова брать в руки винтовку. Мы защищали Белый дом в Иркутске, я был ранен, ушёл в тайгу вместе со всеми... из тех, кто тогда жив остался.

– А почему к Колчаку не перешли? Ведь он вам близок.

Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.

– Почему вы так решили? Меня бы сразу расстреляли! Ведь я же воевал против них!

– Ну, это мы ещё проверим, как ты там воевал. Теперь все герои, как я посмотрю... В двадцатые годы что делал?

– Учился. Сначала в Томском университете, потом

в Красноярском институте народного образования. Закончил институт в двадцать третьем году и был направлен в Енисейск. Был инструктором союза кооператоров, потом работал завучем красноярского детдома водников. Женился там. Жена работала учительницей, помогала мне.

– Соучастница, стало быть.

– Не смейте так говорить о ней! Ведь вы ничего не знаете. Когда я был в партизанах, вы ещё ребёнком были. А она тоже в партизанах была, если хотите знать. Её белогвардейцы чуть не расстреляли в девятнадцатом.

Рождественский откинулся на спинку.

– Вон как ты заговорил! Ну-ну! – Он вдруг поднялся и заходил по кабинету. – Посмотрим, как ты запоёшь, когда мы на очную ставку тебя поставим с твоей сообщницей!

Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.

– Какой ещё сообщницей?

– Женой твоей – Лепинской Светланой Александровной! Всё мне выложишь! Как на блюдечке.

Пеплов поднялся на вдруг ослабевших ногах.

– Товарищ следователь...

– Гражданин!

– Хорошо, пусть будет гражданин... Пожалуйста, не надо сюда жену. У нас дочь маленькая! И вообще, она тут ни при чём...

Следователь вдруг надвинулся на Пеплова.

– А кто при чём? Ну? Быстро говори!

Пеплов отшатнулся, силился что-то сказать, губы его подёргивались.

– Я... я не знаю, что говорить.

– О сообщниках рассказывай, всё как есть! Ты должен называть пятьдесят членов вашей организации. Говори быстро, я слушаю!

Пеплов уронил голову.

– Я не понимаю вас. О какой организации вы всё время спрашиваете?

– Яковенко знаешь?

– Я уже говорил на первом допросе, мы с ним вместе во-  
евали.

– Астафьева знаешь?

– Знаю, он тоже был в партизанском отряде.

– Рудаков, Лобов, Буда, Неупокоев, Жилинский, Малышев...

Фамилии следовали одна за другой. Пётр Поликарпович машинально кивал, подтверждая, что с одним он был в отряде, с другим познакомился в Красноярске, а третьего случайно встретил в Иркутске. Само по себе знакомство не было преступлением. Да и зачем отрицать то, что и так всем известно?

– Хорошо, так и запишем, – проговорил следователь, обмакивая ручку в чернильницу. – Гражданин Пеплов подтвердил соучастие в заговоре вышеназванных лиц.

– Но я ничего такого не подтверждал! – вскрикнул Пеп-

лов. – Я только сказал, что знаю этих людей, и больше ничего. Но ведь это не преступление!

Следователь холодно посмотрел на него.

– Будешь запираяться, мы из тебя кишки вымотаем и всю твою подлую душонку. Понял? А о жене твоей я ещё подумую. Арестовать недолго! – И он стал что-то быстро писать в протокол. Пётр Поликарпович попытался рассмотреть, что он там пишет, но разобрать ничего было нельзя. Он устало отвернулся, стал смотреть в окно. Там светило солнце, в синем небе застыли невесомые облака. «Вот бы улететь сейчас с этим облаком! – подумалось. – Раствориться в синеве без остатка». В сущности, жизнь прожита. Можно спокойно и умереть. Но спокойно умереть уже не получится. Смерть ведь бывает разная. Можно пасть смертью храбрых за правое дело и на виду у всех, а можно быть оплётанным, обогланным и растоптанным, покоровшись дьявольской силе... Нет, этого нельзя допустить. Надо бороться, чего бы это ни стоило.

Приняв такое решение, Пётр Поликарпович почувствовал себя увереннее. Глянул искоса на следователя. Тот всё писал, царапая стальным пером рыхлую бумагу. «Чего он там пишет?..»

Он вспомнил рассказ жены о том, как её судил военно-полевой колчаковский суд осенью девятнадцатого года. Этот рассказ он вставил потом в свою книгу, имевшую шумный успех – особенно у бывших партизан, знавших, как всё было

в действительности.

Кажется, всё это было вчера! А ведь прошло целых восемнадцать лет. Он закрыл глаза, и в темноте вспыхнули огненные строчки:

«— Господа, заседание экстренного военно-полевого суда считаю открытым. Вниманию вашему предлагается слушание дела учительницы Елизаветы Павловны Пуховой, происходящей из крестьян Пуховской области, обвиняемой в участии в банде Потылицына как одного из видных главарей и редактора погромной газеты “Плуг и молот”, кроме сего уличённой в подстрекательстве нижних чинов местного гарнизона и захваченной на месте преступления при похищении бандой упомянутого Потылицына губернской типографии.

— Подсудимая Пухова!

Лиза поднялась с места и чуть заметно улыбнулась, глядя в мертво-скуластое лицо председателя суда.

— Признаете себя виновной в содеянном? — Генерал наклонился через стол и налил в стакан воды.

— Да, признаю... Но!.. — Лиза выпрямилась во весь рост и будто только теперь поняла, как смертельно ненавидит этих своих палачей, совершающих ненужный, жестокий обряд. — Да, признаю и прошу поскорее кончать!

Судьи, вздрогнув, повернули в её сторону головы.

— Сколько вам лет? — спросил широколицый маленький прокурор в длинном френче и с белёсым еришем на голове.



– Восемнадцать, но... разве это важно? – Синие глаза Лизы смеялись злобой. Она села, откинулась на спинку скамьи и остановилась взглядом на люстре, привешенной к голубому потолку залы.

Когда ей предоставили последнее слово, то коротко сказала:

– Прошу не считать, что я неосознанно... я работала и билась с вами убеждённо... Это пошлость говорить, что дело рабочих и крестьян – преступление или вина!

Синие сумерки тихо опускались на город, когда конвойные подвели её к тюремным воротам. “Ввиду несовершеннолетия – двадцать лет каторги”, – чётко звучали слова председателя суда. И когда камера захлопнулась тяжёлой скрипучей дверью, бросилась на шею старой большевички и беззвучно зарыдала...»

– На, подписывай! – Следователь подвинул на край стола несколько жёлтых листов. – Вот тебе ручка.

Пётр Поликарпович взял листы. На первом листе сверху было написано: «Протокол допроса». Он быстро пробежал глазами анкетные данные, там всё было правильно. Но когда дошло до вопросов и ответов, строчки запрыгали у него перед глазами. Первый же вопрос был сформулирован следующим образом: «Материалами следствия Вы изобличены как участник контрреволюционной белогвардейской шпионской и террористической организации. Признаёте себя виновным в этом?»

И далее следовал его ответ: *«Да, признаю. Я действительно являюсь участником контрреволюционной белогвардейской шпионско-диверсионной и террористической организации, которая действовала по прямым директивам нашего руководителя Яковенко Василия Григорьевича».*

Вопрос: *«Когда и кем вы были завербованы в белогвардейскую организацию?»*

Ответ: *«В белогвардейскую организацию я был завербован в городе Красноярске в 1925 г. эсером Лобовым Фёдором Антоновичем, который был связан с Яковенко и знал о готовящемся выступлении против советской власти».*

Пётр Поликарпович бросил листы на стол. Твёрдо произнёс:

– Я этого подписывать не буду!

Следователь поднялся.

– Сейчас я позвоню, и через полчаса сюда доставят твою жену! Будете вдвоём давать показания.

Пётр Поликарпович медленно поднялся.

– А это ты видел?! – и показал следователю кукиш. – Вот тебе показания! Я товарищу Сталину напишу про все ваши дела. Ответите за свои фашистские действия!

Больше он ничего сказать не успел. Следователь налетел на него, сбил с ног и пинал сапогами в живот, по плечам и по голове – куда придётся. Пинал изо всех сил, досадуя, что никак не может приложиться как следует – подследственный дёргался от ударов, закрывался руками, что-то рычал, катал-

ся по полу, выш... В кабинет вбежал боец, скинул с плеча винтовку, стал передёргивать затвор.

– Уйди! – успел крикнуть следователь. – Я сам его, суку, уделаю! – и продолжил избивание.

Пётр Поликарпович уже ничего не видел и не понимал, только чувствовал болезненные удары в самых неожиданных местах. После очередного пинка в голове у него ярко вспыхнуло, и он перестал чувствовать что бы то ни было.

Бесчувственного, его взяли за руки и поволокли по коридору. Голова безвольно болталась, ноги цеплялись каблучками за дорожку. Ничего этого он не сознавал.

Очнулся в камере. Кто-то прикладывал ко лбу влажную тряпочку и заглядывал в глаза.

– Одыбал, кажись... – произнёс кто-то над ухом.

Пётр Поликарпович попытался подняться, но его мягко удержала чья-то рука.

– Лежите, вам нельзя вставать.

Пётр Поликарпович глянул на говорившего, но перед глазами плавали бесформенные тени, а голова гудела, будто её наполнили чем-то тяжёлым и горячим.

– Где я? – спросил, облизнув пересохшие губы.

– В тюрьме, где ж ещё! – был ответ. – Еле живого тебя приволокли. Вот ведь что делают, гады! Ничего святого нет.

Пётр Поликарпович закрыл глаза и попытался вспомнить, что с ним было, но сознание заволакивало мутной пеленой, в которой глохли звуки и краски. В затылок бил тяжкий мо-

лот, отчего всё тело болезненно напрягалось. Он попытался подняться и, не сдержавшись, застонал.

– Потерпи, браток, – опять кто-то молвил, – если уж сразу не убили, значит, ещё поживёшь.

Голос то приближался, то отступал – и тогда становилось немного легче, боль отодвигалась, сознание уплывало. Но через некоторое время тяжесть возвращалась – на него снова наседал реальный мир, со звуками, с неудобством, с резкой болью. В какой-то момент он открыл глаза и страшным напряжением воли удержал ускользающее сознание. Постепенно стали видны очертания стен и каких-то людей. Люди сидели совсем рядом – на полу возле стены, трое или четверо. Один стоял в дальнем углу спиной ко всем. И ещё один сидел тут же на нарах, в ногах. Нары были двухэтажные, деревянные. Было темно и как-то жутко. С низкого потолка тускло светила крошечная лампочка. Откуда-то из-за спины доносились странные звуки – не то капало, не то скрежетало. Бухали где-то шаги, бряцало железо, кто-то кого-то о чём-то спрашивал строгим голосом – там, за железной дверью. Всё было дико, непостижимо, почти нереально.

Пётр Поликарпович снова попытался встать, на этот раз более удачно. Спустил ноги на пол и сел, упёршись двумя руками в жёсткое ложе. Сосед внимательно глянул на него.

– Ну ты крепкий, дядя! – протянул. – Мы уж думали, ты не очухаешься. Молодец!

Пётр Поликарпович присмотрелся. Собеседник был уже

немолод, носил довольно густую бороду, пышную шевелюру; со скуластого лица бойко глядели живые глазки. Типичный сибиряк, лесной житель. Всё ему нипочём.

– А вы как тут очутились? – спросил он мужичка.

– Как и все, – усмехнулся тот. – Прямо из дома взяли. Да тут почти все такие! Все камеры забиты плотяком, не продохнуть. Каждую ночь всё новых привозят. Суют, куда ни попадя. Вот это, положим, одиночка. А нас тут сколько душ? – Он обвёл взглядом камеру и молвил: – Шестеро! – Важно мотнул головой. – И ведь ещё натолкают, это как пить дать! У соседей вон двенадцать человек понатыкано. И ничего. А куды денешься? Придётся терпеть. Так-то, паря!

– Двенадцать? – повторил Пётр Поликарпович. – Да зачем же так много? Может, это проверка какая? Разберутся, а потом отпустят.

Сосед снисходительно улыбнулся. Окинул взглядом Петра Поликарповича и заключил со знанием дела:

– Ежли они со всеми станут разбираться, как с тобой, так и отпускать некого будет! – Немного подумав, спросил: – Что ж вы такого натворили, что вас так отделали?

Пётр Поликарпович опустил голову.

– Протокол отказался подписывать. Сказал, что Сталину жалобу напишу.

Сосед присвистнул. Остальные повернули головы. Сразу стало тихо.

– Сталину? – протянул тот, что стоял у стены – худоща-

вый мужчина невысокого роста. — Мысль правильная, только неосуществимая. Письмо до Сталина всё одно не дойдёт. А если бы и дошло, пока там в Москве разберутся, тебя тут так измордуют, что никакой Сталин не поможет. Уж лучше сразу всё признать и подписать. По крайней мере, жив останешься. И родных не тронут. Они-то тут при чём?

Все сразу зашевелились, загудели возмущённо.

— Ты тут брось ахинею нести! — возразил один из сидевших на полу. Резко поднялся на ноги; оказалось, что это довольно крупный мужчина, широкий в кости, с уверенным взглядом глубоко посаженных глаз. — Если признавать всё, что на тебя вешают, так это будет расстрел — и к попу ходить не надо!

— Да ты хоть видал, что в пятьдесят восьмой статье написано. Там почти все статьи расстрельные! Ты что думаешь, что если признаешься, что ты — японский шпион или там троцкист недобитый, — так тебя помилуют? Да тебя, дурака, сразу же шлёпнут! Пятакова с Каменевым не пощадили, а тебя отпустят. Ага! Держи карман шире!

— Да я и не говорил, что отпустят. Нет, конечно! Дадут лет пять. В конце концов, это не так уж и много. Можно вытерпеть! Главное, следователей не злить. Искалечат ведь. А потом всё равно расстреляют. Конец один.

Пётр Поликарпович поёжился от таких прогнозов. Сознание двоилось. Против воли он втягивался во всю эту чертовщину, как бы соглашался и на сроки, и даже допускал

расстрел, но тут же холодел от абсурдности происходящего. Ведь он точно знал, что ему не в чем каяться, не в чем признаваться! Ни расстрела, ни пяти лет, ни даже пяти минут ареста он не заслужил. Так почему же он находится здесь, в советской тюрьме, взятый той самой властью, за которую боролся с настоящими, а не мнимыми врагами?

Ответа на этот вопрос не было.

Вдруг загремел замок, и дверь распахнулась.

– Кто тут на букву «эн»? – спросил охранник.

Худошавый быстро обернулся.

– Я на букву «эн»!

– На выход!

Худошавый быстро огляделся, одёрнул рубаху и двинулся к выходу. Секунда – и нет его. Больше Пётр Поликарпович никогда не видел этого человека.

Поздно ночью вызвали на допрос и самого Петра Поликарповича.

Его доставили в тот же кабинет, к тому же следователю, который бил его накануне. Тот глянул исподлобья на подследственного и продолжил чтение каких-то бумаг. Пётр Поликарпович стоял перед ним, пошатываясь, не понимая, что ему делать, как себя вести. Сесть ли на стул возле стола или что-нибудь сказать? Но что он мог сказать человеку, так жестоко избившему его несколько часов назад? Если бы он теперь был в колчаковском застенке, а перед ним сидел белогвардейский офицер – о! – он бы многое ему высказал – о

жизни и смерти, о самопожертвовании и готовности умереть за светлые идеалы социализма. Но как себя вести в советской тюрьме, когда перед ним сидит чекист, член ВКП(б) и борец за те же самые идеалы добра и справедливости? И почему этот борец смотрит на него волком, а душа от этого взгляда леденеет?

Следователь отодвинул бумаги и поднял голову, задумчиво посмотрел на подследственного. Ему, как видно, тоже было неприятно всё это. Вернувшись домой уже под утро, он жаловался жене на этого самого Пеплова, не желающего признавать очевидные факты. Жена сочувствовала ему и выражала надежду, что перед ним никакой враг не устоит и всё равно признается! И вот теперь ему предстояло проверить это напутствие.

Воспоминание о молодой и преданной ему женщине смягчило суровость лица, и он спросил довольно спокойно:

– Ну что, будем говорить правду?

Пётр Поликарпович опустил голову. Ничего не изменилось. Всё стало только хуже.

– Я не понимаю, чего вы от меня хотите, – прошамкал он распухшими губами.

– Чего ты там бормочешь? – вскинулся следователь. – Говори громче!

– Я сказал, что ничего не знаю. Я ни в чём не виновен! – произнёс Пётр Поликарпович крепнущим голосом.

– Так-так! Значит, продолжаем упорствовать! Ну что ж. –



Он легко поднял своё грузное тело, выпрямился, выпятив грудь. – Значит, так, бить я тебя больше не стану – неохота руки марать. А сделаем просто: я сейчас прикажу арестовать твою жену, и тогда посмотрим, как ты заговоришь! – И он пристально посмотрел на Пеплова, проверяя реакцию. Но Пётр Поликарпович нисколько не изменился в лице. Он уже многое понял для себя и многое решил.

– Если вы арестуете мою жену, это ничего не изменит. К тому же у нас маленькая дочь. Вы и её заберёте?

– Дочь твою определяют в детский дом. Жена пойдёт по статье за недоносительство. А тебя расстреляют. Твоё участие в заговоре уже доказано, а признание – пустая формальность. Подельники твои во всём признались. Им это зачтётся, а тебе выходит высшая мера. Если тебе себя не жаль, так хотя бы о малолетней дочери своей подумай. Каково ей будет расти полной сиротой?

Пётр Поликарпович опустил голову. Ещё минута, и он согласится, подпишет признание своей несуществующей вины. Но из самой глубины поднимался вопрос: а как после этого будет жить его дочь? Что скажет жена, когда узнает, что муж много лет обманывал её, вёл двойную жизнь? Для неё это будет хуже смерти. Ведь это позор на всю жизнь! А раз так...

– Я ни в чём не виноват, – тихо проговорил он. – Мне не в чем признаваться. А вы... делайте то, что вам подсказывает совесть.

Следователь на миг потерял дар речи. Никак не ожидал

такого упорства от этого уже немолодого человека.

– Значит, не хочешь разоружиться перед советской властью? – для верности спросил он.

Пётр Поликарпович отрицательно помотал головой.

– Ну что ж, тогда пеняй на себя. Ты сам во всём виноват. – И снова бросил испытующий взгляд на Пеплова. Тот стоял с застывшим лицом, и не понять было, о чём он думает. Следовательно испытал в этот момент почти непреодолимое желание изо всей силы ударить его в солнечное сплетение – как их учили на спецкурсах: нужно подойти к подсудственному с правой стороны и, резко крутнувшись на левой ноге, захватить носком сапога в центр мягкого живота, чуть выше пупка. Он проделывал это неоднократно во время допросов, и всякий раз эффект был потрясающий: охнув и выпучив глаза, подсудственный сгибался пополам и валился на пол; несколько минут он не мог вздохнуть, корчился, как раздавленный червяк, утробно мычал и силился протолкнуть в себя воздух; зрелище было довольно гадкое. Но выбора у следователя не было – он должен был добиться признания во что бы то ни стало. И он его добивался: редко кто после подобных приёмов продолжал упорствовать. Правда, иногда заключённые умирали от разрыва желудка или селезёнки, но это выходило случайно, Рождественский не хотел никого убивать. С другой стороны, у него было готово объяснение такой горячности. «Эти скоты любого доведут!» – невозмутимо заключал он в подобных случаях. Но на этот раз его что-то останови-

ло – он и сам не мог понять, что именно. То ли безучастный вид подследственного, то ли эти его слова про совесть. Только он испустил шумный вздох и быстро прошёл к столу. Сел в кресло и стал быстро заполнять протокол допроса. Пётр Поликарпович стоял с безучастным видом и смотрел в одну точку. На него навалилась страшная тяжесть. Хотелось поскорей уйти отсюда, закрыть глаза и ничего не знать, не чувствовать. Если б можно было, он застрелился бы прямо сейчас, смывая с себя позор и разрешая все вопросы. У него хватило бы на это мужества.

А следователь всё писал свой протокол. Для него всё было предельно ясно: если враг не сдаётся – его уничтожают!

Когда с бумагами было покончено, следователь вызвал конвойного. Петра Поликарповича вернули в камеру.

\* \* \*

На следующее утро в просторном кабинете начальника областного управления НКВД началось очень важное совещание. На нём присутствовал только что приехавший из Москвы первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский Михаил Поликарпович. Председательствовал сам начальник управления – Лупекин Герман Антонович. Фриновский и Лупекин были примерно одного возраста – обоим не было ещё и сорока. Но внешне они сильно различались. Московский гость был дороден и благообразен, круг-

лолиц и черноволос, с проницательным взглядом больших тёмных глаз. Лупекин – совсем наоборот – был худощав и как бы измождён, невысок и тонок; многие находили его до жути похожим на автора знаменитой книги «Как закалялась сталь» (когда тот лежал, парализованный, в постели). Это внушало если не ужас, то душевный трепет. Сходство было, конечно, случайным. Однако Лупекин осознавал выгоды подобного сближения и старался придать лицу совсем уже нечеловеческое выражение: взгляд его был каким-то волчьим, будто он каждую секунду видит потусторонний мир, но не боится ни духов и ни демонов, а готовится дать им самый решительный и беспощадный бой, как и подобает советскому чекисту и нестигаемому борцу со всякой нечистью.

На совещание были приглашены начальники отделов и их заместители, а также несколько особо доверенных сотрудников – из числа приехавших в Иркутск вместе с Лупекиным пару месяцев назад. Всего набралось человек сорок – все в военной форме, все в блестящих хромовых сапогах, подтянутые и внутренне собранные, готовые (и способные) на всё. Этакая рота сверхлюдей, которым доверены особо важные тайны и от которых зависит слишком многое в этом несовершенном и пакостном мире.

Открыл совещание, как и положено, товарищ Лупекин. Он поднялся со стула и обвёл подчинённых своим мертвящим взглядом. Воцарилась абсолютная тишина.

– Товарищи уполномоченные, – произнёс он низким

хриплым голосом, — я хочу представить вам первого заместителя народного комиссара, командарма третьего ранга товарища Фриновского. Он только что прибыл в наш город с особым поручением лично товарища Ежова. Прошу никаких записей не делать. Письменные инструкции вы получите позже, в индивидуальном порядке. Итак, слово для сообщения исключительной важности предоставляется... — Он выразительно глянул на высокого гостя. Тот сдавленно кашлянул и повернул голову. В руках его показалась бумага. Уткнувшись в неё, он стал читать утробным голосом, словно бы давясь и глотая звуки:

— Я уполномочен зачитать директивное письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР. — Короткая пауза, нетерпеливое движение шеей, и далее: — В настоящий момент, как никогда, необходима бдительность коммунистов на любом участке и в любой обстановке. В условиях обострения классовой борьбы и усиления империалистической агрессии, когда немецкий фашизм вкупе с подонками-троцкистами создаёт в нашей великой стране свою агентурную сеть, доблестные органы НКВД должны кардинально усилить свою бдительность и беспощадно пресекать вражеские вылазки. Товарищ Сталин призывает нас к беспощадной борьбе с врагами социалистической Родины, с отщепенцами и предателями всех мастей и оттенков. В наркомате подготовлен циркуляр об усилении

оперативной работы по эсеровской линии, также значительно усилена оперативно-агентурная работа по церковникам и сектантам, по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям, панмонгольской шпионской организации, правотроцкистской контрреволюционной организации, белогвардейской шпионской организации, фашистской шпионской организации, церковно-монархической организации. В Западной и Восточной Сибири уже вскрыты и разрабатываются контрреволюционные организации среди высланных кулаков и примкнувших к ним партизан. Враг хитёр и коварен, он не гнушается ничем! – Фриновский поднял голову и впервые посмотрел на притихших чекистов. – Две недели назад в Москве арестован бывший нарком Ягода. Этот двурушник исключён из партии и уже даёт признательные показания. Вместе с ним арестована целая шайка прихвостней, все они готовили покушение на товарища Сталина и членов правительства!

Он снова остановился, чтобы перевести дух, затем продолжил:

– В вашем регионе также выявлена глубоко законспирированная сеть вражеских агентов и лазутчиков. Могу сказать, что в настоящее время расследуется дело бывшего начальника УНКВД по Восточно-Сибирскому краю гражданина Зирниса. Получены доказательства его участия в подготовке террористических актов против органов советской власти. Недавно состоявшийся в Москве пленум ВКП(б) под

председательством товарища Сталина заклеил всех этих наймитов и потребовал навести порядок беспощадной рукой революционной законности. Вопрос теперь стоит так: или мы – или они! В преддверии двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мы не можем позволить жестокому врагу отнять у нас всё то, что досталось нам ценой неслыханных жертв и лишений. Наши доблестные товарищи, павшие в боях за советскую власть, не простят нам малодушия и мягкотелости. Мы должны противопоставить врагу нашу твёрдость и непреклонную веру в великие идеалы, завещанные нам Лениным. Наш дорогой товарищ и учитель – Иосиф Виссарионович Сталин – прикладывает титанические усилия на своём посту. Не покладая рук, день и ночь он борется за наше с вами счастье, товарищи! И мы должны каждую секунду чувствовать свою ответственность за порученное нам дело, мы должны оправдать оказанное нам высокое доверие. Мы находимся на переднем крае беспощадной борьбы за дело рабочих и крестьян во всём мире. Сегодня, как и двадцать лет назад, снова решается вопрос – быть или не быть первому в мире социалистическому государству. Фашистская Германия, империалистическая Япония, реакционные круги Англии и Франции, Италии и Америки – все они выступают против нас единым фронтом. Но им не удастся поставить нас на колени! Мы противопоставим им железную дисциплину и стальную выдержку – как учит наш дорогой вождь и учитель! Для это-

го от каждого сотрудника НКВД требуются величайшая собранность и дисциплина. Вы должны помнить во время проведения допросов, что вы имеете дело с контрреволюционерами и матёрыми врагами! Ваша задача состоит в том, чтобы заставить всю эту сволочь встать на колени перед советской властью, разоружиться и раскрыть свою контрреволюционную работу, назвать организацию, всех её участников и просить пощады у советской власти. Организуйте допрос обвиняемого таким образом, чтобы он был непрерывен, и до тех пор не отпускайте обвиняемого в камеру, пока он не признается в своих преступлениях, даже если на это потребуется день, два, три, четыре и больше. Вам разрешается применять меры физического воздействия в отношении особо злостных врагов Советской власти. Мы не можем себе позволить мягкотелости ввиду той угрожающей обстановки, что сложилась в международном положении нашей страны...

Фриновский говорил всё громче, голос его возвышался и опадал, словно морской прибой; сам он багровел и туго наливался желчью, лицо делалось мокрым, он рефлекторно вытаскивал нечистый скомканый платок и отирал пот с заплывшей шеи и отёчного лица. Его слушали в мёртвой тишине, слова улетали в гулкую пустоту и делались осязаемыми; сердца каменели, головы наливались металлом, дыхание останавливалось. Свёршалось что-то великое и страшное – все это чувствовали, и все готовы были отдать жизнь в борьбе с ненавистным врагом! Если бы им велели немедленно



прыгнуть в окно с четвёртого этажа, они, конечно, сделали бы это, не рассуждая ни секунды. Но если бы им вдруг сказали, что почти все они будут расстреляны как враги народа в ближайшие три года, и что шалеющий от избытка чувств высокий гость также будет расстрелян – в феврале 1940 года, тогда же будет расстреляна его ни в чём не повинная жена и даже – его семнадцатилетний сын (несмотря на уверения Сталина о том, что сын за отца не отвечает)... Что в один день с Фриновским будет расстрелян всесильный нарком Ежов, а жена его, красавица Суламифь, поняв, в чём дело, покончит жизнь самоубийством, что сорокатрёхлетний брат Ежова также будет расстрелян и два сына брата будут умерщвлены, а ещё один каким-то чудом избежит казни, но получит 8 лет лагерей, и что сидящий рядом с Фриновским товарищ Лупекин не избежит общей участи и будет расстрелян ещё раньше – в марте 1939 года... Если бы затынутым в гимнастёрки и хромовые сапоги энкавэдэшникам сказали, что всё это произойдёт в самое ближайшее время, они сочли бы это за чудовищную ложь и поклёп на советскую действительность! Тем не менее всё случилось именно так. И даже ещё хуже: всё оказалось гораздо подлей, гаже, бесчеловечней! Но человеку не дано знать своё будущее, иные не способны прогнозировать собственные поступки на ближайшую перспективу. А ещё бывает так, что человеку отказывает элементарный здравый смысл. Особенно часто это случается в толпе, под воздействием всеобщего магнетизма (ко-

торое проще назвать массовым психозом). Всё это выдаётся за революционный порыв масс и за благородное негодование против империалистов.

А пока что присутствующие напряжённо слушали докладчика, наливаясь злой силой и жуткой непреклонностью, забывая о милосердии и сострадании, о простейших уложениях человеческой жизни; всё это должно было помочь стальной когорте одолеть легионы мифических врагов молодого Советского государства. Наказ товарища Сталина будет выполнен! Враг не уйдёт от расплаты! Пощады не будет никому и никогда! Во веки веков!

Аминь...

\* \* \*

Пётр Поликарпович не слышал этих жутких речей и совершенно не осознавал опасности своего положения. Арест, нелепые обвинения, избиеение в кабинете следователя – всё это представлялось ему кошмарной ошибкой, диким недо-разумением, которое непременно разрешится в ближайшие дни или даже часы. Он с нетерпением ждал нового допроса в надежде оправдаться силой логики и здравого смысла. Но часы тянулись в мрачном подземелье, день сменялся ночью, приходило утро, за ним другое и ещё одно, а его всё не вызывали. Соседи его уходили один за другим, неуверенно шагали за порог камеры и исчезали навсегда. Ни с кем из

них он больше никогда не встретился. Много позже он узнал о том, что все те, кто тогда признал свою вину и поставил дрожащую подпись под каждым листом протокола допроса (как этого требовали следователи) – все они были переведены в «красный корпус» иркутской тюрьмы, на «пятнадцатый пост», и там же все до единого расстреляны (из немецкого вальтера в затылок), после чего под покровом ночи трупы их вывозили на спецполигон НКВД под Иркутском, носивший романтическое название «Дача лунного короля»; там их сваливали кучей в заранее выкопанные гигантские рвы-накопители и слегка присыпали землёй (слоем не более полуметра). Не все умирали сразу – казнимых было слишком много, а палачи торопились. По свидетельствам жителей близлежащего села Пивовариха, видевших издали свежие захоронения, земля на рассвете шевелилась и как бы дышала, словно возмущалась таким зверством человеческих существ, которых она исторгла когда-то из себя. Быть может, земля эта помнила слова Господа, сказанные первому человеку: «Прах ты и в прах возвратишься!» Но вряд ли Господь предполагал, что возврат этот будет столь стремительным и жутким, опережающим естественные сроки и минующим все мыслимые и немыслимые заповеди, которые Он заповедал роду человеческому.

Ни те, что заседали наверху в просторном кабинете, ни те, что сидели внизу в промозглых мрачных казематах, – в Бога не верили. Те и другие были безбожники и немало этим

гордились. Что там Бог говорил первому человеку на Земле – их вовсе не интересовало, о заповедях Его никто не знал и знать не хотел. Пётр Поликарпович, находясь в тесной сырой камере среди десятка других людей, думал о чём угодно, но только не о Боге. Он тосковал о жене и о дочери, видел с закрытыми глазами свой уютный кабинет с высоким потолком и толстыми стенами; он мысленно выходил из него и не спеша шёл на кухню, где уже закипал алюминиевый чайник на газовой плите, а из кастрюли с гречневой кашей клубами поднимался ароматный пар. Тут же, в коридоре, была просторная ванна с горячей водой, с душистым мылом, с висящими на крючочках чистыми полотенцами и махровыми халатами, с бархатными тапочками на кафельном полу. Дома тепло, тихо, уютно! Каменные стены гасят звуки и дарят восхитительное чувство защищённости и покоя. Пётр Поликарпович открывал глаза, и лицо его мрачнело. Вокруг были тёмные бугристые стены, по которым крупными каплями сочилась ледяная вода, с низкого потолка едва светила жёлтая лампочка; в углу возле двери – стояла деревянная параша, накрытая круглым щитом, от которой несло жуткой вонью. Теснота, испарения от немых тел и невозможность вдохнуть полной грудью, расправить плечи, сбросить с себя невидимый груз. Когда-то в молодости Пётр Поликарпович жил в тесных землянках, где условия были ничуть не лучше (только что нужду справляли на улице, а не тут же, у всех на виду). И он верил в душе, что всегда сможет вернуться в та-

кую вот землянку и всё вынести. Но теперь вполне убедился, что это вовсе не так. Всё хорошо в своё время. В молодости можно (и нужно!) рисковать жизнью и терпеть всяческие лишения. Но в зрелые годы человек должен нормально спать и хорошо питаться, и он не должен терпеть побои и оскорбления, тем более если их не заслужил.

О многом передумал Пётр Поликарпович в эти первые часы заключения. Один час такого размышления, быть может, стоит целой жизни. А о том, что выносит человек в минуты перед казнью – об этом мы уж никогда не узнаем. Разве какой-нибудь Достоевский об этом расскажет? Да и то... можно ли об этом правдиво рассказать, даже и пережив предсмертный ужас? Так и мы – никогда не узнаем доподлинно о том, что чувствует человек, безвинно посаженный в тюрьму и лишённый всяких средств к защите. А потому оставим на время Петра Поликарповича наедине со своими мыслями и перенесёмся на волю – в писательский особняк, где тоже творились диковинные дела и решалось многое. Ведь не одни же следователи и не только Сталин виноваты в том, что случилось с огромной страной в просвещённом двадцатом веке.

Михаил Михайлович Басов выполнил своё обещание – он написал предельно честную характеристику на своего товарища, которого почитал за глубоко порядочного и благородного человека. На трёх листах машинописного текста он изложил героическую биографию Петра Поликарповича, отме-

тил его безусловную преданность делу революции и особо подчеркнул литературное дарование, которое позволило ему продолжить борьбу за власть Советов, только вместо землянки и окопа у него теперь были кабинет и письменный стол, а винтовку заменила перьевая ручка (которая в умелых руках бывает посильнее целого арсенала оружия). В том же духе высказался тот, кого уже при жизни называли патриархом сибирской литературы – Исаак Григорьевич Гольдберг, чьи литературные заслуги не подвергались сомнению, исключая сотрудников Наркомата внутренних дел, которым некогда было читать умные книжки по причине повсеместного засилья врагов и вредителей. Оба они – Басов и Гольдберг – имели не очень приятную, но всё равно продолжительную беседу с капитаном Рождественским.

Капитан НКВД Илья Алексеевич Рождественский подошёл к делу о контрреволюционном заговоре в писательских рядах со всей ответственностью: он вызывал к себе всех членов писательской организации и с каждым имел продолжительную беседу на предмет сознательности и готовности отдать жизнь в борьбе за правое дело рабочего класса. Все беседы проходили по одному сценарию, как это было, например, с Басовым. Он был вызван одним из первых – всё туда же, в областное управление НКВД на улице Литвинова – в большой серый дом со множеством кабинетов и внутренней тюрьмой, упрятанной глубоко под землю. Михаил Михайлович приехал в это мрачное заведение в понедельник двена-

дцатого апреля, в девять часов утра. Он имел при себе им же написанную характеристику на Петра Поликарповича и был настроен довольно решительно (потому что был человеком не робкого десятка, а также чувствовал свою правоту).

Басову не пришлось плутать по закоулкам здания НКВД. Для подобных бесед была приготовлена комната, находившаяся тут же, у входа в здание. В эту комнату можно было пройти прямо с улицы, не объясняясь с часовым снаружи и не беспокоя вооружённую охрану внутри. Рождественский провёл Басова коротким коридорчиком, толкнул лёгкую дверь и пригласил жестом войти.

В комнате было два пустых стола, поставленных вагончиком, у стен стояло несколько стульев. Окно на улицу. Больше – ничего.

Сели друг против друга. Рождественский пристально посмотрел на Басова.

– Принесли характеристику?

Тот кивнул.

– Пожалуйста! – и протянул стопку листов, скреплённых подписью и синей печатью.

Рождественский углубился в чтение. Голова склонилась, лицо сделалось суровым.

Басов вдруг почувствовал смутную вину. Как будто он что-то натворил и принёс объяснительную, и вот строгий начальник читает его оправдания, и видно, что он недоволен написанным. Басов стал вспоминать написанное и попытал-

ся представить, какое впечатление производят его заключения на этого сурового человека, но мысли путались, и он чувствовал себя всё хуже. Отвернувшись, стал смотреть в окно. А там – ни души. Машины тут не ездят – особо охраняемая зона. И пешеходов не видать – по той же самой причине. Ни деревца, ни травинки, лишь каменный дом на противоположной стороне. Тоже казённое учреждение. Окна зашторены, внутри всё будто умерло.

Басов услышал шорох и обернулся. Следователь складывал листы, на лице его было странное выражение – не то улыбка, не то усмешка.

– Так-так, – протянул он. – Оправдываем разоблачённого врага советской власти. Проявляем политическую близорукость. – И он твёрдо глянул в глаза Басову. – Нехорошо, товарищ писатель! Очень опасная тенденция. Может плохо для вас кончиться!

Басов на миг перестал дышать. Он словно угодил в безвоздушное пространство, стало вдруг гулко и пусто на душе. Он разом поглупел и умалился. Речь словно бы отнялась. Он чувствовал многое, но не знал, как об этом сказать.

– Товарищ уполномоченный, – пробормотал он, – я вас не понимаю... Вы просили написать характеристику. Я и написал, как всё было. Я давно знаю Петра Поликарповича, это крепкий писатель и кристально честный человек...

Следователь вдруг поднялся. Лицо его задёргалось.

– Этот ваш кристально честный человек изобличён пока-



заниями его подельников! В течение нескольких лет он осуществлял подрывную деятельность у вас под носом, у него налаженные связи с Красноярском и Москвой. У нас на руках письменные показания десятка человек, близко его знавших. А вы что тут пишете? Как всё это понимать, гражданин хороший?

Басов тоже поднялся. Слова давались ему с трудом, усилием воли он унял волнение, подавил слабость.

– Но я ничего такого не знаю! – произнёс твёрдо. – Если даже что-то и было, мне-то откуда об этом знать? Я ведь не могу заглянуть ему в душу.

– А надо бы! – сверкнул глазами Рождественский. – Вы там сидите в своём доме и ни черта не видите вокруг. Контрреволюция поднимает голову! Троцкисты и недобитые белогвардейцы готовят вооружённое восстание. А вы там у себя благодушествуете. Но так теперь нельзя. Не то время! – Он подумал секунду, потом взял со стола листы и протянул Басову. – Заберите. Завтра в это же время я жду от вас новую характеристику. И пожалуйста, без сантиментов. Вы должны проявить революционную бдительность. Я на вас очень рассчитываю.

Басов взял листы, помедлил.

– Но я не знаю, что мне писать!

Следователь вскинулся.

– Вот как? Вы писатель – и не знаете, что вам следует писать? Вы не чувствуете никакой ответственности за судьбу

страны, давшей вам всё?

— Я чувствую свою ответственность, и я стараюсь... по мере сил... — неуверенно заговорил Басов. — Но я не знаю ничего такого, о чём вы сейчас сказали! Пётр Поликарпович — мой давний знакомый, мы дружим семьями, на рыбалке вместе бываем.

— Так-так, — подхватил следователь, — и о чём же вы там беседуете? Быть может, гражданин Пеплов делился с вами своими мыслями о политическом моменте?

Басов отстранился.

— Да вы что! Мы о литературе обычно говорили, о наших писательских делах. Политику мы никогда не обсуждали. Зачем нам это?

— Так уж и не обсуждали, — скривился следователь и вдруг заключил, как отрезал: — Ну ничего, скоро мы всё это выясним. — Глянул в глаза Басову и произнёс со значением: — Вы свободны, гражданин Басов. Пока свободны! Идите.

Басов неловко повернулся и пошёл прочь. Вышел в коридор, спустился по ступенькам, ещё один проход — и наконец оказался на улице. Шёл в каком-то оглушённом состоянии, ничего не видя вокруг. На душе была страшная тяжесть, предчувствие чего-то ужасного. Петра было уже не спасти, это совершенно ясно. Басов узнал недавно от московских знакомых, что в столице арестован Володя Зазубрин, его давний друг, замечательный писатель — человек, лично знавший Дзержинского и пользовавшийся его доверием. Но

это значило лишь одно: взять теперь могут любого и в любую секунду. Вот прямо сейчас подойдут среди улицы и возьмут под белые руки! Михаил Михайлович осторожно огляделся. Захотелось вдруг побежать сломя голову, куда-нибудь спрятаться. Раствориться без остатка, исчезнуть из этого мира! Но он знал, что никуда не побежит, примет всё, как оно есть. Дома его ждали жена и две дочери. Были ещё живы родители жены и множество родственников с обеих сторон – в Иркутске, Красноярске, Тобольске, Новосибирске. Даже если их не тронут – что они будут о нём думать? Как будут расти без него дети? Нет, бежать нельзя. Но и лгать он тоже не станет. Нужно говорить одну лишь правду, не качаться и не поддаваться на угрозы и уговоры следователей. И тогда, быть может, всё и обойдётся. А если не обойдётся, что ж, тогда он погибнет. Но он умрёт честным человеком. В девятнадцатом году, когда он перешёл от Колчака на сторону красных, он уже сделал этот выбор – между жизнью и смертью, между честью и позором. А что ж теперь? Гражданская война давно закончилась, Колчака спустили под лёд студёной Ангары. Белочехи убрались восвояси, белогвардейцев и семёновцев разметали по белу свету (а большей частью пустили в расход). Отчего же снова так тревожно бьётся сердце? Откуда этот липкий страх, парализующий волю?

Ничего не видя перед собой, Михаил Михайлович брёл по залитой весенним солнцем улице. Над головой широко раскинулось синее небо, птицы весело щебетали, перелетая

с ветки на ветку, ветерок приносил с юга тепло и пряные запахи... – всё это было уже не для него. Жизнь, похоже, катилась к закату. Несколько рановато! Михаилу Михайловичу шёл на тот момент тридцать девятый год.

Предчувствия его не обманули: через три дня Михаил Михайлович Басов был арестован. Его взяли прямо из рабочего кабинета. Посадили в чёрную эмку и увезли. Это случилось днём. А ночью взяли Гольдберга и поэта Балина (обоих – из дома). Все трое были доставлены во внутреннюю тюрьму областного НКВД на улицу Литвинова. Их поместили в разные камеры (чтоб не сговорились), и почти сразу стали допрашивать с особым пристрастием, почти с экстазом (выполняя таким образом наказ товарища Фриновского). Обвинения были стандартные: участие в правотроцкистской организации, вредительство, террор, а ещё – шпионаж в пользу Японии и фашистской Германии (до пакта Риббентропа – Молотова было ещё далеко), а кроме этого – участие в эсеровском заговоре. Любого из этих обвинений было достаточно для расстрела (что и случилось в самом недалёком будущем: не выдержав пыток и поверив лживым посулам следователей, Басов, Гольдберг и Балин признали себя виновными во всём, что им инкриминировали; и все трое упокоились в гигантских рвах-накопителях на «Даче лунного короля»). Таких вот «дач», «урочищ», «полигонов» и «местечек» – были сотни по всей стране! Сотни тысяч советских граждан должны были заполнить своими телами эти чудовищные мо-

гильники. Зачем всё это делалось? Ради какой великой цели? Никто тогда этого не знал. Не знает и теперь. Потому что на этот вопрос невозможно дать ответ и ещё потому, что нет в мире такой цели и такого идеала, ради которых нужно массово уничтожать людей.

На первом же допросе Михаилу Михайловичу Басову выбили все передние зубы. Церемониться с ним не стали, да и некогда было шибко рассусоливать! Как только следователь понял, что перед ним крепкий орешек и просто так его не расколоть, так он сразу же перешёл от слов к делу. А дело своё он знал отменно! Здоровые волосатые кулаки и праведный гнев к врагам советской власти придавали непоколебимую уверенность в том, что он делает всё верно, более того – действует единственно верным способом. Все другие способы ошибочны и порочны. Ведь всё же ясно как день! Басов был изобличён показаниями его подельников (полученными, правда, в других кабинетах и даже в другом городе, но сути дела это не меняло), следовательно, Басов тоже должен признать свою вину. Недавно полученная из Москвы секретная инструкция ясно указывала на методы ведения следствия. Требовалось лишь одно: чёткое признание подсудимым своей вины. И – собственноручная подпись под протоколом допроса. Об этом писал в своей недавно вышедшей книге «Судоустройство в СССР» генеральный прокурор Вышинский. Чего уж более! Да и в самом деле, ничего лучшего придумать было нельзя! Сбор доказательств, сопоставление

фактов, анализ мотивировок, всякая там психология и прочие буржуазные штучки были отброшены за ненадобностью. Чего канючить и переливать из пустого в порожнее? Если следователю ясно, что перед ним закоренелый враг, так зачем же с ним возиться и соблюдать пустые формальности? Вот и получил Михаил Михайлович в зубы волосатым кулаком уже после пятого вопроса. Он сидел на стуле и не ожидал ничего такого. Удар, надо отдать должное спортивной форме дознавателя, был мастерский! Следователь – крепко сбитый крепыш с широкими плечами и длинными руками грузчика – вдруг подшагнул сбоку и нанёс правый хук прямо в зубы подследственному. Если бы Михаил Михайлович как-нибудь приготовился, если бы ожидал этого подлого удара – так не было бы таких страшных последствий. Но он сидел в обычной позе, чуть опустив подбородок, шея была расслаблена, и мышцы скул тоже расслабились – а это опасней всего! Голова его откинулась от удара, губы и язык мгновенно превратились в кровавое месиво, рот наполнился горячей кровью; захлёбываясь, Басов опрокинулся на спину, крепко ударился затылком о цементный пол и завалился на бок. Передних зубов уже не было, они свободно перемещались в кровавом липком месиве. Боли тоже не было – если не считать болью оглушение, жуткий гул в голове; а кровь – что же? – кровь можно и выплюнуть вместе с зубами. Не глотать же её литрами! Да и не проглотить столько.

Следователь, не удержавшись, пару раз пнул лежащего

на боку человека – это было так естественно в его положении! Но пинал он уже не по лицу (а ведь мог бы зазвездить по щеке, сломать скулу, к примеру, или выбить глаз), а – по груди, по рёбрам. Удары были сильные, с оттяжкой, так что следователь едва не сломал себе пальцы на ногах (сапоги сапогами, но при жёстком ударе выпрямленные пальцы стопы ломаются очень даже легко – случаев таких было предостаточно, некоторые следователи хвастались этим обстоятельством, бравовали своей выдержкой и готовностью пострадать за правое дело). Сохраняя полное самообладание и внутренне любуясь собой, следователь поднял с пола окровавленного, мотающего головой человека и усадил обратно на стул. Подождал, пока подследственный придёт в себя, и лишь тогда задал очередной вопрос:

– Ну что, теперь будем говорить правду?

Михаил Михайлович хотел что-нибудь сказать, но это у него не получилось. Губ своих он не чувствовал вовсе, их как бы не было, передние зубы были раскрошены, а язык словно бы отнялся. Что он чувствовал – он и сам не мог понять. Какую-то жуть, что-то невыразимое словами. Он замычал и стал качать головой – сверху вниз, сверху вниз, а ещё – глядел на следователя вытаращенными, безумными глазами. На нём был гражданский костюм, в котором он ещё этим утром восседал в своём председательском кабинете. Белая рубашка вся была забрызгана алой кровью. Волосы на голове сбились в густую массу и едва ли не стояли дыбом. Смотреть на него

было очень неприятно. И следователь приказал его увести. Он уже знал, что проблем с этим писакой у него больше не будет. Он и не таких обламывал. Завтра же тот даст признательные показания и всё подпишет. Подпи-ишет! Никуда не денется. Всё выложит, мерзавец! Потому как это последнее дело – гадить родной советской власти – власти, которая дала тебе всё!

Ожидания следователя оправдались: на следующий день Михаил Михайлович Басов признал всё, в чём его обвиняли.

Гольдбергу и Балину повезло чуть больше – их не били с такой сокрушительной мощью. Гольдберг был уже пожилым человеком, держался с достоинством, и его только стращали и запутывали (справедливо решив, что с него будет довольно и этого). Исаак Григорьевич очень дорожил семьёй, и, когда вопрос встал о благополучии близких, он сразу же во всём признался, чего и слыхом не слыхивал и чего не мог совершить даже гипотетически. Следователь был страшно доволен.

Поэт Балин также избежал жестоких побоев, но по другой причине. Он производил донельзя странное впечатление – тихий, задумчивый, с отсутствующим выражением лица и весь какой-то несуразный! Бить его было даже как-то и неловко (сомнительно также было его участие в подготовке терактов и многолетнем вредительстве; но ведь в жизни всякое бывает, вот и немецкий философ Гегель в своём учении говорил о единстве и борьбе противоположностей и о разных



парадоксах). Следователь ударил поэта пару раз – не очень сильно и более для острастки, чем для настоящего нажима, – но и этого вполне хватило. Несчастный поэт не то испугался, не то помешался в уме, но он стал с готовностью подтверждать всю возводимую на него чушь, так что следователь брезгливо морщился и спешил поскорей закончить это дело. Дал подследственному подписать листы, тот торопливо скрепил их подписью и был отправлен обратно в камеру, где и дожидался реального возмездия за свои мифические дела.

Ничего этого Пётр Поликарпович до поры не знал – к огорчению, а может, к счастью для себя; об этом трудно теперь судить. Связь его с внешним миром была оборвана решительно и крепко. Ни писем, ни устных посланий он не получал с воли, точно так же ничего не просачивалось от него наружу сквозь прочные каменные стены. Свиданий родственникам не давали, хоть ты лбом разбейся и какие угодно приводи доводы. Не положено! – и баста (ведь не обычные уголовники сидели в казематах, а – террористы, диверсанты и опаснейшие вредители!). Не знал Пётр Поликарпович и того, что другие – не арестованные писатели – усиленно готовились к экстренному собранию, где должны были прозвучать разоблачительные речи, а все двурушники и скрытые враги – получить достойную оценку. Писатели готовились очиститься от скверны (как и вся страна). Пётр Поликарпович в душе надеялся на своих товарищей, что они вступятся за него, вызволят из неволи и спасут его честное имя. Кому,

как не им, знать, что он преданный советской власти человек, что герои его книг продолжают самую трудную борьбу – борьбу за сердца читателей! Кому, как не им, знать всю силу писательского слова, подкреплённого искренностью и верой в собственную правоту. Если они твёрдо выскажут всё это, тогда любому станет ясно: Пётр Поликарпович ни в чём не виноват и его надо немедленно отпускать – к жене и маленькой дочке!

Но однако же всё произошло совсем не так, как надеялся Пётр Поликарпович.

Внеочередное собрание писателей Восточно-Сибирской области состоялось двадцать седьмого апреля одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года от Рождества Христова. День выдался солнечный, по-летнему тёплый. Приближался Первомай с его грандиозной демонстрацией и массовыми гуляньями. Ожидались маёвки на природе – тоже очень хорошо! После долгой зимы так приятно выехать на природу, в ближайший лесок, на берег тихой сибирской речки, и там, под плеск волны и ласковый шелест листьев недавно распутившейся берёзки развести немудрящий костерок, сварганить ущицу с окуньками и предаться мечтам о том, какая счастливая скоро наступит жизнь на земле! Но однако же это будущее счастье нужно было заслужить. Коварный враг не дремлет и никак не уймётся. Белогвардейская сволочь и троцкисты-вредители злонамеренно жгут хлеб в скирдах (отчего голод), повсеместно выводят из строя домны и турби-

ны (отчего никак не наладится производство), подло клеветают на родную коммунистическую партию и очерняют всё то хорошее и светлое, чего удалось достичь ценой неслыханных жертв и мучений нескольких поколений революционеров. Нет, никак нельзя терять достигнутое, невозможно предать светлую память героев революции и Гражданской войны! Нужно дать решительный отпор врагу, вырвать смертоносное жало, преподать им всем показательный урок – так, чтобы навсегда отбить охоту вредить и гадить, чтоб никто не мешал советскому народу двигаться в светлое будущее. Так говорили ораторы с высоких трибун, и так думали если не все, то очень многие граждане великой страны, привыкшие верить газетным статьям и репродуктору, а также пропагандистам, смело обличавшим врагов на многочисленных собраниях и митингах, когда глаза горят, а грудь вздымается от праведного гнева и общего одушевления.

День этот – двадцать седьмое апреля 1937 года – был весьма насыщенным как для Восточной Сибири, так и для всей страны. Накануне фашисты сбрасывали с самолётов двухсоткилограммовые бомбы на испанскую Гернику, и теперь её руины догорали и обращались в пепел вместе с убитыми жителями. В этот день постановлением ЦК ВКП(б) СССР был образован Комитет обороны под председательством Молотова. И в этот же день нарком Ежов направил Сталину шифровку, в которой сообщал о раскрытии сразу двух троцкистских террористических организаций – в Калининской обла-

сти и Верхне-Лукском пограничном округе. Первую организацию возглавляли командир дивизии Ковалёв и его помощник Томм (Томм также обвинялся в подготовке покушения на товарища Ворошилова), а вторую террористическую организацию возглавил секретарь окружкома товарищ Енов. И хотя Ковалёв, Томм и Енов ещё ни в чём не признались (их даже не арестовали), но на них показали на допросах другие активные участники обеих террористических организаций (и этого было, как говорится, за глаза). Вполне естественно было арестовать всех этих подлецов, а впоследствии безжалостно расстрелять (на что Сталин охотно дал своё согласие, так же как в сотнях (в тысячах!) других подобных случаев). В Иркутске 27 апреля также не дремали: состоялся пленум городского Совета депутатов, который освободил от должности своего председателя Камбалина Николая Варламовича. Через четыре дня, как раз на Первомай, член ВЦИК и активный участник борьбы за власть Советов, а ныне – террорист и вредитель Камбалин был арестован, а ещё через год – расстрелян.

Ну а писатели, как уже было сказано, собрались на своё внеочередное собрание. Уже были арестованы трое из четверых членов правления писательской организации, и уже всем писателям стало окончательно ясно, что всё это всерьёз и надолго, а любые шуточки – закончились. Шутить нельзя было даже в пьяном виде, даже поэтам-балагурам, привыкшим нести всякую околесицу (по примеру того же Балина).

Это достопамятное собрание освятили своим присутствием заведующий культпросветотделом обкома ВКП(б) товарищ Каплан, а также его заместитель товарищ Калманович.

Всего на собрании присутствовало сорок человек, считая с писательским активом и молодыми авторами (приглашёнными для придания весу и в воспитательных целях).

Открыл собрание единственный оставшийся на свободе член правления – Николай Иванович Волохов. Положение его было донельзя шаткое. Несмотря на то что он был членом партии большевиков с 1928 года, несмотря также на яркое поэтическое дарование и очевидную преданность рабочему классу (из недр которого он сам и вышел), несмотря на всё это и множество других достоинств и козырей, он чувствовал себя очень тревожно, справедливо полагая и уже зная по опыту, что об эту пору в Стране Советов возможно всё. Обострённым чутьём загнанного в угол человека, чувствуя у сердца ледяное дыхание смерти, он понял, что сейчас он должен смириться, каяться и саморазоблачаться. Это ничего, что он не чувствует за собой никакой вины. Не в этом дело! А всё дело в том, что настал такой момент, когда все советские люди должны внимательно посмотреть на самих себя и сказать во всеуслышанье: а жил-то я, братцы мои, совсем не так, как надо было жить! Я должен был рвать и метать, гореть и плавиться в священном пламени революции! Жизнь кругом кипит, на наших глазах вершатся великие дела, наш дорогой вождь и отец ночи не спит, всё думает о

том, как спасти революцию, как оградить нас от подлых и многочисленных врагов, а мы тут впали в спячку, не видим дальше собственного носа и проморгали замаскированных вредителей: троцкистов и бухаринцев, зиновьевцев и камневцев, правых оппортунистов и левых уклонистов, террористов-вредителей, шпионов-диверсантов, белогвардейскую сволочь и недобитых каппелевцев, колчаковцев, семёновцев, немецких фашистов и японских шпионов! Так хватит же этой мягкотелости и бесхребетности! Даёшь ежовые рукавицы и стальные нервы в деле борьбы за родную партию и за дорогого нашего и любимого товарища Сталина!

– Главная задача, стоящая теперь перед писателями, – говорил он набирающим силу голосом, – это всемерное овладение большевизмом и усиление пролетарской бдительности, а также равзвёртывание самокритики, благодаря которой были вскрыты болезненные явления в нашей писательской организации. Органами НКВД предотвращена троцкистская диверсия в нашей литературе. Гнусная деятельность врагов народа – Андреева, Гольдберга, Пеплова, Басова и Балина, их подручных и оруженосцев – нанесла невосполнимый урон не только писательской организации, но всему делу строительства социализма в нашем очень важном для всей страны регионе. Писательская организация оказалась засорённой чуждыми людьми, в результате чего были допущены провалы по целому ряду важнейших направлений работы – воспитанию молодых писателей, работе на местах,

в глубинке, по подготовке к изданию новых книг и альманахов и, главное, реализации решений февральского пленума ЦК ВКП(б). Мы должны сегодня сказать решительное «нет» всем тем, кто вредит и сопротивляется великому процессу социалистического строительства. Необходимо усилить бдительность, оставить сантименты до лучших времён. Времени на это у нас нет, потому что враг не дремлет. Все, кто был на митингах, видели, с каким единодушным удовлетворением встречались сообщения, что требования миллионов трудящихся об уничтожении врагов народа – выполнены! И мне непонятно, почему товарищи молчат по такому вопросу, который имеет серьёзнейшее значение в жизни нашей организации. Поэт Балин и прозаик Лист открыто вели антисоветские разговоры, а это несовместимо с пребыванием в Союзе советских писателей. Моя вина в том, что я не сразу отреагировал, не настоял на том, чтобы Лист подал письменное заявление обо всех этих разговорах Балина и других выявленных врагов народа. Но больше этого не повторится. Мы дадим достойный отпор врагам советской власти в наших рядах!

Каплан и Калманович внимательно слушали эту речь и в душе одобряли, но виду совершенно не показывали. Оба сидели с каменными лицами и с остекленевшими глазами. Оба помнили о том, что им предстоит написать подробный отчёт об этом собрании, причём каждый будет писать свой отчёт отдельно от другого, и неизвестно ещё, что они напи-

шут друг о друге! Через пять недель в Москве будет арестован их патрон – первый секретарь Восточно-Сибирского обкома ВКП(б) товарищ Разумов (ещё через 5 месяцев он будет расстрелян), его первый зам товарищ Коршунов также будет арестован и расстрелян без всякого к нему снисхождения. Также будут расстреляны комсомольские вожаки области и города – Виктор Захаров (первый секретарь обкома комсомола) и товарищ Игнатов (первый секретарь горкома комсомола). Не избежит этой участи и второй секретарь горкома ВКП(б) товарищ Казарновский. 20 июня будет арестован председатель облисполкома, член президиума ВЦИК товарищ Пахомов. Под эту зверскую раздачу попадут и оба вышепоименованных партийца от культуры – Каплан и Калманович. Но пока что они сидели и с напряжёнными лицами слушали докладчика, внутренне одобряя его пламенную речь, но всё равно тревожась и пытаясь что-нибудь найти особенное, чтобы отличиться, выказать своё рвение и особо тонкое понимание политического момента. Но, к досаде, ничего не приходило на ум. Самое лёгкое было – поймать докладчика на слове, уличить его в политической близорукости или там в каком-нибудь уклоне, но пока что ничего такого не предвиделось, и они мрачнели, каменели и темнели. «Авось кто-нибудь из выступающих что-нибудь да ляпнет!» – думали оба. На это вся надежда. Задача у них была простая: добиться осуждения арестованных писателей, выставить дело так, что это не органы НКВД их карают, не пар-



тия большевиков распоясалась, а сами же писатели заметили скверну и приняли необходимые меры. Скверну – прочь! Вредителей – с корнем! Вперёд, к новым целям и победам под руководством родной коммунистической партии и дорогого товарища Сталина!

Волохов говорил долго и утомительно, повторяясь, перескакивая с одного на другое, забывая о том, с чего начал. Но одно было неизменно: решительное осуждение врагов народа, необходимость принятия самых жёстких мер. И как само собой разумеющееся, предложил исключить из Союза советских писателей двурушников и предателей – Басова, Гольдберга, Пеплова и Балина. Верил ли он сам в то, что говорил? Этого мы уже не узнаем. Скорее всего – нет. Ведь следствие по делу опальных писателей только что началось, и по здравом размышлении, все обвинения в терроризме и троцкизме выглядели совершенной нелепицей; но страх крепко держал докладчика за сердце. И сердце каменело, голос наливался металлом, и гневные слова вырывались из глотки подобно отравленным пулям. Иногда ему казалось, что это не он говорит, а кто-то другой бросает в зал страшные обвинения, гневается и наливается желчью. На глазах у всех тихий поэт-лирик превращался в громогласного витию-ниспровергателя! Человек, душа которого была наполнена нежностью и предощущением счастья:

Я начинаю путь перед рассветом,

Ещё не посветлела полоса,  
Но тает темнота с приходом света,  
Как исчезает блеск в твоих глазах.  
Светлеет горизонт, туманом тая.  
Росой стекают слёзы по траве.  
Холодною водой земля питаюсь,  
Даст силы в измождённом душном дне.  
Спускается дорога, но подъёмом  
Венчает поворот её пути,  
И я спокойно поднимаюсь к солнцу,  
Чтоб встретить его тёплые лучи, —

теперь, под необоримым давлением обстоятельств, ломал самого себя, изменял своей природе.

Когда доклад был окончен, воцарилось молчание. Всем было не то чтоб неловко и не сказать чтобы тяжело, а как-то странно, будто все вдруг разом поглупели и позабыли, кто они есть на этом свете и вообще — что такое этот свет (и не пора ли собираться на тот?).

В эту минуту общего смятения с места поднялся товарищ Каплан. Невысокий, мешковатый, с невыразительной внешностью и одутловатым лицом, он держался уверенно, шагал твёрдой поступью и сомнений не ведал.

— Всё, что вскрылось за последнее время в Союзе писателей, говорит о потере бдительности, о беспечности. Враги саботировали постановления ЦК, срывали работу среди молодёжи, останавливали рост её. Та же беспечность была

в нашем отделении. Руководство игнорировало работу с молодёжью. Этот саботаж обосновывается тем, что основные писатели были антисоветскими людьми. Гольдберг не терпел никакой критики, а за его красивыми фразами скрывались собственные эгоистические мотивы. И это закономерно. В прошлом Гольдберг был контрреволюционер, эсер. Пеплов, объявивший себя беспартийным, закономерно скатился к контрреволюции. Поэт Балин проявил полное непонимание того, что происходит в стране, а ему доверяли беспечные люди, такие как товарищ Волохов, который проглядел эти вещи в Союзе писателей. Бывший руководитель писательской организации Басов длительное время саботировал активную деятельность писателей, старался принизить роль организации и также примкнул к троцкистским кругам. Поэт Лист пьянствовал, бросил партийный билет и воздержался от голосования против оппозиции в 1927 году, он разговаривал с Балиным на антисоветские темы, и этому не придавалось значения. Людей не изучали, а ведь им доверяли воспитание наших кадров. Когда мы вплотную подошли к руководству, сразу вскрыли нездоровую атмосферу. В порядке самокритики скажу, что мы – обком ВКП(б) – недостаточно приняли мер, чтобы искоренить все эти недостатки. Мы также несём вину за случившееся. Но мы вправе потребовать от писателей принципиальности и ответственности. Мы ждём от вас чётких и недвусмысленных решений. В противном случае могут быть приняты самые жёсткие меры.

Последняя фраза хотя и была произнесена ровным голосом, но произвела на всех очень неприятное впечатление. Все окончательно уяснили своё место. Да и кто бы не уяснил? Доярки и кузнецы, рабочие от станка и мелкие служащие – на лету схватывали все эти пламенные речи партийцев, на удивление быстро делали выводы и тут же настраивались на нужный лад, и вот уже целое собрание голосует в обеденный перерыв, требуя расстрела врагов советской власти и громко славя коммунистическую партию. Чего уж говорить об инженерах человеческих душ. Тут и намёка бывает достаточно, чтоб догадаться.

Выступать сразу после представителя обкома – всегда непросто. Но после столь устрашающей речи это казалось вовсе невозможным. Перечить обкому – немыслимо. Соглашаться – как-то неловко. Но не всем! Не всем... Вперёд вышел товарищ Кушнерев, редактор областной газеты «Восточно-Сибирская правда». Этот ничего не боялся и рубил сплеча:

– Как случилось, что бывшие руководители восточно-сибирской литературой не занимались своим прямым делом? «Стажистые» писатели замкнулись в своём кругу. Корифеи оскандалились, за малейшую критику набрасывались на газету. Особенно Гольдберг. Гольдберг всегда был чужд настоящим советским интересам литературы. Он не понимал основных лозунгов о социалистическом реализме. Его «День разгорается» – фальшивое произведение, не будящее ни од-

ного чувства. «Хлеб насущный» – вещь контрреволюционная. Это наглая клевета на бедноту и советскую власть! Вещи Пеплова по внешней форме лучше вещей Гольдберга, но в них чувствуется полное неуважение к читателю, к культуре языка. Он – кулацкий сынок, случайно попавший в партизанский отряд. Мы и раньше это подозревали, а теперь узнали доподлинно. Поэт Балин, якобы человек не от мира сего, но он, конечно, не аполитичен. Ему, видимо, не случайно Басов и Гольдберг доверили литературную консультацию. Чему же он учил начинающих писателей? Какие мысли и настроения вкладывал в их неокрепшие души? Почему враги советской власти оказались во главе литературного процесса? Это ещё предстоит выяснить! Хотя мне лично всё уже понятно. Врагам не место в наших рядах! Что дальше делать? Давайте думать. Пока же я предлагаю достойно отметить годовщину смерти Максима Горького, который, как мы теперь знаем, был отравлен врагами советской власти. Мы говорим им всем своё решительное нет!

Кушнерев мотнул головой и пошёл на своё место. Его сменил другой оратор, некто Фёдоров – простоволосый, круглолицый, в мятом неопрятном пиджаке, как будто он только что вышел с сеновала.

– Нам необходимо овладеть культурой! – безапелляционно заявил он. – Мы не знаем произведений Маркса – Ленина – Сталина. Философские сочинения нам неизвестны. Сам я недавно прочитал «Орлеанскую деву». Классики жизнь не

созерцали – участвовали активно в ней. Этому мы должны у них учиться. Нужно быть обыкновенными советскими работниками. Бестемье – это чепуха! Темы можно сколько хочешь черпать из окружающей жизни. Так я взял одну тему о людях, разлучившихся 30 лет назад, и из очерка переделываю в новеллу. Мораль можно найти во всём, главное – правильная позиция! Причина распада литературной группы, которой руководил Балин, – полный хаос в работе. Бесплановость угробила эту группу. В любой литературной группе должен быть поставлен вопрос политического и философского образования. Недостаточность философского образования ведёт к срывам, к неправильному мировоззрению, как это случилось с молодым писателем Бутенко, написавшим вещи с явно неправильными политическими и философскими установками.

Фёдоров ещё что-то говорил, махая руками, а на смену ему уже шёл следующий выступающий – Шалагинов. Лицо его подёргивалось, в глазах сверкал огонь.

– Работа правления неудовлетворительна! – бодро начал он. – Волохов был несамокритичен. Он допускал грубые ошибки, доверяя Гольдбергу, Балину и Пеплову. Новгородов, работавший под руководством Балина, написал контрреволюционные вещи. Его осудили на пять лет. Ряд сигналов уже был о Гольдберге, а мы прошляпили. Бутенко говорил во всеуслышанье: зачем наблюдать жизнь, достаточно общения с культурными людьми. Рассказы Бутенко показыва-

ли результат его теории – отвратительный результат! Бутенко учился у Гольдберга. «День начинается сегодня» Гольдберга, по-моему, вредное произведение. Он не общался с жизнью, как и Бутенко. Большинство наших произведений страдает отсутствием идейности. Нет мысли, которая бы запомнилась. Пример: Волохов. Он говорит о вынашивании произведений. Но часто идеи занасывают. Однажды я поделился с Гольдбергом замыслом, он сказал: напиши, тогда посмотрим. Разве это ответ? Разве это по-советски? У нас ещё много формализма. Нет достаточной пропаганды. Этими процессами нужно руководить! Предлагаю к двадцатилетию Великого Октября подготовить сборник произведений, достойных этого великого события в жизни нашей социалистической Родины!

Концовка выступления была очень эффектной. Но почему-то никто не аплодировал. Наверное, хотели подчеркнуть, что тут не театр, но всё предельно серьёзно и весомо. Вот и следующий оратор не стал ходить вокруг да около. Будущий автор всемирно известного романа «Даурия» сказал следующее:

– Доклад Волохова нельзя признать удовлетворительным. Мало говорилось о Басове. Все утверждают, что Басов не руководил работой правления. Но кто поручится, что это не была его система принижать нашу писательскую группу, отодвигать её в тень от общей политической жизни? О моём иждивенчестве пора бросить говорить. Я теперь работаю

вдвойне, если не втройне. Неспроста же центральное правление давало мне возможность подлечиться, значит, я человек нужный. На предыдущем собрании поэт Балин выявил свои контрреволюционные настроения. Я не понимаю, откуда эта двойственность? Я знаю Балина давно и ничего подобного от него не слышал. А когда услышал, то ужаснулся. Мы должны решительно осудить эти вещи, и ясно, что Балин не может быть членом Союза писателей. Я хочу ещё сказать о художнике Андрееве. Его поведение всегда казалось мне странным. Он как-то отдельно живёт и мыслит, чем наша советская общественность. Его скептицизм возмущает меня. Вот когда я читаю газеты и восхищаюсь победами испанских республиканцев, Андреев своим скепсисом расхолаживает меня. Но я не убеждён, что Андреев сочувствует фашистам.

Другой писатель – Павел Лист – немедленно подтвердил высказывания Седова об Андрееве:

– Седов говорил мне, что скепсис Андреева удивляет его. Андреева не радуют, например, успехи испанских республиканцев. Он относится иронически к нашим достижениям. И я знаю, что у Андреева есть нечто от этого скепсиса. Замечаются нехорошие разговоры и у Балина. У него есть какие-то колебания. Он легонько относится к происходящему в стране. Он даже говорил, что нам навязывают счастливую жизнь, а её нет. Он проводил аналогию с французской революцией, указывая, что может кончиться и у нас Наполеоном.



Также говорил, что расстрелы не нужны, по крайней мере для всех троцкистов и зиновьевцев, что он против репрессий такого сорта. Он, видите ли, противник смертной казни, и это должно быть противно всякому человеку! Он однажды заявил при мне: дескать, зачем нам счастливая жизнь, когда счастья на земле вообще нет? Он также защищал Андреева, говорил, что никогда не слыхал от него антисоветских высказываний. Волохов делает вид, что он ничего этого не замечал. И напрасно! Он должен знать всё это. И реагировать.

*(Добавим в скобках, что известный сибирский художник Н. А. Андреев – первый председатель Восточно-Сибирского краевого союза советских художников – через два дня после этого собрания был арестован, а ещё через год расстрелян.)*

Вперёд вышел представитель молодой литературной поросли, никому не известный автор по фамилии Белобаченко. Книг его никто не читал (по причине их отсутствия в природе), но это не помешало ему говорить очень весомо, уверенно и совершенно по существу (так сказать):

– Мы недостаточно развёртываем критику и самокритику и мало развиваем культуру, – сразу взял с места карьер этот писатель от токарно-фрезерного станка. – Товарищ Волохов указывал в докладе на Листа, Балина, Пеплова и Гольдберга. А вот эту сторону осветил мало. «Кто поёт не с нами, тот против нас!» – говорил Маяковский. Это очень верно! Указанные люди – пособники врагов народа. Необходимо поставить этот вопрос резче. Вот, к примеру, пьеса «Большой

день». Дискутируют за и против. Но мы должны понимать, что враг пытается использовать литературу. Надо выращивать преданные партии кадры, не черпать из таких, как Лист, который пьёт и кое-что похуже. Нам нужно учиться большевизму. Овладение большевизмом – основная задача! Я не согласен, что для этого необходимо учиться в университете. Нет, жизнь – лучший университет! Где учился Николай Островский? Он закалялся в буре и потому поднёс такие высокохудожественные произведения. Рабочие наши читали с восторгом это волнующее произведение. Уровень нашей молодёжи низок, но не настолько. Давайте не будем себя порочить. Нам предоставлена огромная база для культуры. Есть, правда, среди нас люди вроде Листа, но в семье не без урода. Народ любит, ценит литературу. Но нужна помощь. Нам не нужны индивидуализм и замкнутость. Тем у нас много в жизни, но мы ищем некие «мировые проблемы». В этом наша беда. Надо начинать с маленького рассказа, с маленького очерка. Возьмите Чехова! Учитесь у него писать. Задуманная тема может быть интересной тогда, когда будет вложено сердце, пропитанное патриотизмом и любовью к Родине. Наш литературный кружок при заводе существует давно, но он нас не удовлетворяет. У нас много сырья, но нас надо учить. Отсутствует консультация. Литературный кружок у нас двигает работу, но этого недостаточно. Мы разбирали вещи Листа, Пеплова с участием автора. Мы хотели провести вечер Листа, но, узнав о случившемся, отменили. С по-

мощью кропотливой работы Союза советских писателей мы сможем в подарок к Октябрю поднести сборник. Мы должны идти в ногу с центром. Ввести обмен опытом литературных кружков... – Он хотел сказать ещё что-то, но глянул на передние ряды, откуда на него сурово и пристально смотрели десятки пар глаз, и, вдруг смутившись, упёрся взглядом в пол и пошёл на своё место.

Выступили ещё несколько писателей. Придумать что-то новое уже не могли и повторяли одно и то же: в руководство проникли вредители, и надо их вырвать с корнем, то есть решительно и насовсем. О гармонии стиха и премудростях стилистики речи не велось. Не тот случай!

Итоги подвёл товарищ Каплан. Он так и сказал:

– Я хочу подвести итоги. Я не скептик и не хочу думать, что дела в Союзе писателей так уж плохи и их нельзя исправить. Теперь, когда ряды писателей очистились и мы вскрыли гнойники, необходимо решительно исправить обстановку. Нужно ещё шире развернуть самокритику. Всем писателям нужно быть в активе советской общественности. Но чтобы быть активистом, необходимо в полной мере проявить себя. Писатели к этому продвигаются с большими потугами. На политические события реагируют от случая к случаю. Даже появление сталинской конституции для нашего отделения союза не стало важнейшим вопросом. Правда, один раз вы прослушали доклад о конституции, но тем дело и закончилось. Не было откликов на испанские события. Правление

союза и актив плохо прислушивались к призыву об изучении нашей советской действительности. Недостаточно тесно писатели работают с партийными органами. Виноват в этом и товарищ Волохов, есть в этом и моя доля вины. Но это мы обязательно выправим!

Что касается арестованных врагов народа – Пеплова, Гольдберга, Басова и Балина, – то им не место в рядах Союза советских писателей. Очень скоро органы НКВД дадут достойную оценку их деяниям. И я хотел бы отдельно остановиться на высказываниях Балина о сострадании и ненужности смертной казни. Эти слова Балина наглядно показывают нам, что Балин ещё не приобщился к советской действительности. Фактически он у вас на глазах проводил антисоветскую агитацию, клеветал на советскую власть! Он доказывал Листу, что если процессы над троцкистами будут и дальше продолжаться, они могут вызвать резонанс в стране. Не значит ли это, что Балин таит надежду на оживление контрреволюционных сил в стране? Что русские люди сострадательны к зиновьевцам и троцкистам – это ложь, поклёп на русских людей. Такие настроения необходимо решительно пресечь, товарищи писатели! Надо вовремя ликвидировать всяческие заблуждения и вовремя спасти временно заблудившихся людей.

Теперь об Андрееве. Отдельные личности (тот же Балин) старались придать его скепсису невинный характер. Но скепсис также ведёт к озлоблению, а дальше – к измене! Худож-

ника Андреева надо вызвать на суд советской общественности. Всё говорит за то, что среди писателей и художников очень мало политической бдительности. Некоторые считают, ссылаясь на Маркса, что, дескать, поэты заслуживают снисхождения. Заявляю ответственно: к врагам народа в нашей советской действительности мы никогда веротерпимостью не отличались и таковыми не будем! Не надо бояться политики. Боязнь политики – это неверие в нашу свободу, в нашу конституцию. Значит, и здесь было мало воспитания. Мало и плохо вы знаете наши законы и решения партии и правительства. Оттого и получается, что наши писатели боятся политики, колеблются и даже не знают, что весь культурный мир земного шара на все процессы, происходящие над врагами народа, отзывается солидарно. Необходимо в корне изменить работу правления и актива. Как представитель культотдела обкома я обещаю установить тесную связь со всей писательской организацией и с отдельными её членами. Надо создать деловую обстановку для товарищей, которые желают работать. Предлагаю избрать вместо дискредитировавшего себя правления – ответственного секретаря писательской организации. Необходимо приложить все силы для достойной встречи двадцатилетия Великого Октября. Предлагаю немедленно приступить к подготовке юбилейного сборника. При известном напряжении сил мы все эти недочёты можем изжить. Люди и силы у нас есть! Несмотря на вражеское окружение и бешеную борьбу оппозиции, мы

уничтожим всех врагов и обеспечим победу социализма во всём мире. К деятельной борьбе я призываю и вас, товарищи инженеры человеческих душ, как очень правильно сказал наш пролетарский писатель Максим Горький!

Такая речь никого не оставила равнодушным. Раздались аплодисменты. Товарищ Каплан сел, вполне собой удовлетворённый. Хоть он и не пишет романов, но сказать может очень даже хорошо, получше иного писаки!

Заключительную речь пришлось держать всё тому же Волохову. Он внимательно слушал всех выступавших, впитывал каждое слово представителя обкома и теперь окончательно убедился в правильности выбранного тона, жалея лишь о том, что был недостаточно решителен и напорист в осуждении врагов. Нужно быть агрессивнее, беспощаднее, говорить яснее и проще, и ещё нужно оставить всякие сомнения и держать себя так, будто тебе известна истина в последней инстанции. Ну и конечно же, в основе всего – полное согласие с линией партии большевиков. Никаких других линий и уклонов. Боже упаси – выказать хотя бы тень сомнения! Тогда – аутодафе, тогда смерть и вечный позор (что гораздо хуже смерти). И так вот, не до конца всё это осознав, но ощутив внутри себя крепнущую косную силу – писательский вожак стал говорить своё заключительное слово. Нет нужды повторять его здесь. Он говорил всё то же, что и остальные. И каждый из присутствующих, оказись он на месте Волохова, сказал бы то же самое, если не слово в сло-

во, то всё равно очень и очень близко. Потому что бывают такие ситуации, когда множество народа словно бы впадает в транс. (Не это ли имел в виду Ульянов-Ленин, когда говорил, что «идея, овладевшая массами, становится силой»?) В такой ситуации почти невозможно избавиться от наваждения. Руки сами тянутся вверх, голосуя за смерть вражеским агентам, и все сердца бьются в такт, словно бы отбивая ритм эпохи – эпохи неистовства, злобы и всеобщего ослепления. О последствиях в такой момент не думают. Разум молчит. А совести – словно бы и не бывало. Партийцам совесть заменял кодекс строителя коммунизма. А всем остальным – инстинкт самосохранения. Жить хочется каждому. Принимать смерть за какие-то там принципы?... Да полноте, что это за глупости! Главный принцип – это я и моё личное существование. Всё остальное – не важно! (Так рассуждали тогда многие. Многие так думают и поныне.)

Волохов наконец закончил. Ему подали резолюцию собрания. Он взял её двумя руками, несколько секунд рассматривал, как бы не понимая, потом коротко кивнул и стал читать:

– Собрание постановляет. Первое. Исключить из рядов ССП за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова. Второе. Полностью вскрыть и ликвидировать последствия враждебной деятельности в писательской организации разоблачённых врагов. Третье. Организовать действительно политическую воспитательную работу среди писателей, систематически по-

вышать их классовую бдительность вокруг задачи борьбы со всякими попытками враждебных элементов проникнуть в состав Союза писателей или осуществить своё влияние. Четвёртое. Для повышения идейно-художественного уровня творческой работы писателей организовать цикл специальных лекций и бесед, творческие самоотчёты. Включить в план работы отдельные темы по актуальным социально-экономическим дисциплинам, и прежде всего по истории ВКП(б), ленинизму, международному положению. Пятое. За необеспечение правильной политической линии, потерю революционной бдительности, за отсутствие борьбы с засорением организации враждебными и разложившимися элементами – переизбрать правление Союза писателей Восточно-Сибирской области. Шестое. Считать целесообразным иметь в дальнейшем вместо правления одного ответственного секретаря, который являлся бы уполномоченным правления ССП СССР. Просить правление ССП санкционировать данную организационную перестройку. Седьмое. Заслушать в первой половине июня доклад уполномоченного о ходе выполнения настоящего решения. Восьмое. Вопрос о поведении писателя Листа рассмотреть дополнительно.

Отложил листы и глянул в зал.

– Предлагаю голосовать за предложенную резолюцию. Кто за?

Присутствующие дружно подняли руки. Против и воздержавшихся не было.



Если бы Пётр Поликарпович всё это видел и слышал, то он, быть может, покончил бы с собой в ту же минуту. Его называли врагом не какие-то там посторонние люди, но те, кто знал его долгие годы, кто лучезарно улыбался ему и тянул издали руку для пожатия. Многим писателям Пётр Поликарпович помог добрым советом. Каждому второму устраивал публикации в различных журналах и альманахах (пользуясь московскими связями). Множество бытовых вопросов ежедневно решалось с его помощью, никто не встречал отказа или равнодушия. Конечно, обращались и бездари, но даже к ним Пётр Поликарпович относился сочувственно. Ведь сам он когда-то был простым крестьянским парнем, едва знал грамоту и не мог связать двух слов в присутственном месте. Он хорошо усвоил: всё в этой жизни даётся упорным и честным трудом! Всё достижимо и всё по плечу человеку, если только он не боится работы. И он требовал от начинающих писателей только одного: неустанной работы над своими ошибками! Он никому не отказывал в дружеском совете и не давал убийственных характеристик. И вдруг он сам – враг, вредитель, кулацкий сынок... Нет, хорошо, что он всего этого не слышал. Хоть он и повидал многое за свои сорок пять лет – и жестокую крестьянскую нужду в сибирской глуши, и грязные окопы Первой мировой войны, и кровавые революционные схватки, и отчаянную партизанскую войну, когда всё висело на волоске, а потом – удивительный взлёт к подлинной культуре и знаниям, знакомство с Горь-

ким, вдохновенная речь на Первом съезде писателей Сибири, организация многотрудного писательского дела в огромном Восточно-Сибирском крае, создание литературного альманаха «Будущая Сибирь», поездка в Москву на съезд писателей СССР (где он с волнением слушал выступления лучших писателей страны), неустанная работа над новыми книгами, поездки по области, многочисленные статьи для газет, рецензии на рукописи начинающих авторов, множество событий и лиц, когда некогда остановиться и перевести дух, — весь этот вал событий, вся эта «громадно несущаяся жизнь» не смогла подготовить его к тем событиям, которые случились в апреле 1937 года. Видно, плохо он знал свою страну и свой народ. Видно, в душах советских людей таилось нечто такое, что лучше было не трогать. Видно, не зря испокон века бытует на Руси пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо»! Лихо спит до поры. Но когда оно проснётся, тогда держись! Тогда случаются смуты, мятежи и кровавые казни, коим несть числа в тысячелетней русской истории. Тогда идёт войной на царя Стенька Разин, а стрельцы грозят спалить Москву и убить малолетнего царя, тогда народ разрушает тысячелетние храмы и требует жестокой расправы над ближними и далёкими, вовсе незнакомыми ему людьми.

Поэт Балин тоже никак не мог предположить такого о себе отзыва. Несколько лет он вполне официально руководил центральным литературным объединением города, говорил молодым поэтам о гармонии стиха и об отзывчивости души,

приводил в пример Тютчева и Пастернака, помогал молодым авторам в меру своих сил и способностей – и всегда делал это искренно, от души. А когда нужно было помочь ему самому, эти самые авторы выразились вполне определённо: их руководитель политически безграмотен, идейно вреден и никуда не годен. Всё его руководство – сплошной обман и вредительство!

Для Гольдберга и Басова у писателей также не нашлось ни одного доброго слова. Кто-то, быть может, и хотел сказать что-нибудь в их защиту, да не решился. А если бы решился, так в необъятном списке жертв добавилось бы новое имя. И что бы это изменило в общей картине?

Хотя как знать! Если бы воспротивились все разом, если бы вся страна встала на дыбы и выказала негодование всей этой мерзости – что бы тогда поделали дубинноголовые уполномоченные и их нерассуждающие командиры? Как бы тогда повёл себя жестокосердный и трусливый правитель огромной страны? Этого мы уже никогда не узнаем. Народ в массе своей безмолвствовал – в очередной раз в своей крошечной истории.

Справедливости ради следует сказать, что обвинения Пеплова и его несчастных товарищей строились не на суждениях писателей и не на газетных статьях в областной партийной газете (которая не преминула одобрить все эти аресты и наветы, добавив со своей стороны множество завлекательных нюансов и тонкостей – чисто в газетном духе).

Отнюдь! Обвинения логически вытекали из признаний других «членов и пособников» террористических организаций. (Как добывались все эти признания – отдельный разговор.) Но для арестованных «вредителей» подобные собрания и единодушное осуждение бывших товарищей и друзей были едва ли не страшнее пыток энкавэдэшников. Физическую боль иногда ещё удаётся перенести (а в тридцать седьмом по-настоящему ещё и не пытали, вернее, пытали, но не всех, а только самых главных «вредителей» и отъявленных «террористов»). Но повальное предательство знакомых и коллег, публичное бесчестье при полном отсутствии возможностей для самооправдания – всё это ломает человека решительно и быстро, лишает его воли к сопротивлению, уничтожает личность. И с таким человеком можно делать всё что угодно. Он подпишет любой протокол и примет смерть как неизбежность, как благо и освобождение от невыносимых душевных мук. Потому что жить ему больше незачем и не для кого (как представляется ему в помутившемся сознании). Именно это и случилось с Балиным, Гольдбергом и Басовым (а также с подавляющим большинством так называемых врагов народа). Эти несчастные люди очень быстро признали свою вину и были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Поэт Александр Балин был расстрелян в декабре 1937-го, руководитель областной писательской организации Михаил Басов – в июне 1938-го, а старейший и виднейший иркутский писатель Исаак Гольдберг получил пулю в затылок

в декабре 1939 года.

Пётр Поликарпович Пеплов избежал этой участи лишь потому, что не признал участия ни в каких заговорах. Его старались как-нибудь впихнуть в правотроцкистскую контрреволюционную организацию. Не прочь были видеть в рядах эсеровской контрреволюционной организации (за мифическое участие в которой и был расстрелян Гольдберг). Подумывали о панмонгольской диверсионно-шпионской организации и даже – о заговоре бывших белогвардейцев (тех самых, с которыми Пеплов сражался, будучи партизаном). Но последнее обвинение совсем уже было некстати, и на нём особо не настаивали. А вот первые две организации вполне бы сгодились. Но Пеплов никак не хотел признавать своей вины, проявив чудовищное упорство, вовсе не свойственное творческой интеллигенции. Тайный расчёт следователей на интеллигентскую мягкотелость здесь не оправдался. Наверное, потому, что Пётр Поликарпович Пеплов вышел из самой гущи народа, прошёл жестокую закалку в сибирской глуши и повидал на своём веку всякое; его не так-то легко было сломать. Он и не сломался. Хотя, конечно, это был уже далеко не тот Пётр Поликарпович, нежели в момент ареста три недели назад. Эти три недели он провёл в крошечной камере, битком набитой такими же, как он, несчастными людьми. В баню их не водили, кормили пустой баландой; книги, ручки, зеркальца, расчёски, полотенца, мыло, шахматы, перочинные ножи, любая посуда – ничего этого им не полага-

лось. Арестанты – обычные горожане, которым и в страшном сне не могли привидеться все эти антиправительственные заговоры и теракты, – содержались так, как держат серийных убийц и отъявленных подонков; к ним не было никакого снисхождения, никакой пощады. И они, не имея воли к сопротивлению или даже обычной злобы и упорства (своих собственных подлинным заговорщикам и подпольщикам), – почти все они быстро сникали, зарастали щетиной, покрывались грязью и теряли остатки сил. Очень немногие продолжали упорствовать. Эти были твёрже других, лица их были угрюмы, но во взгляде заметна была непреклонность, граничащая с безумием.

Когда следователь Рождественский встретил взгляд Петра Поликарповича Пеплова (во время очередного допроса), ему, конечно, это не понравилось и он решил добить его последними новостями с воли.

– А вы знаете о том, что писатели провели внеочередное собрание и исключили вас из своих рядов? – произнёс он со снисходительной улыбкой.

Пеплов ответил не сразу. Подумал несколько секунд, потом молвил со вздохом:

– Что ж... я теперь ничему не удивляюсь.

Хоть он и сказал так, но на самом деле известие это оглушило его. Он хотел крикнуть: «Неправда, этого не может быть! Меня не могли исключить!» Но он уже понял, что не всё следует говорить людям в погонах. Они – не друзья ему.

За снисходительным тоном и внимательным взглядом таятся холод и расчёт. Тут нет друзей, нет и не будет ни сочувствия, ни помощи.

Рождественский пока ещё не заметил этого раздвоения. Принял за чистую монету равнодушный вид подследственного.

– Значит, вы были готовы к такому сценарию? – спросил он вкрадчиво. – И вы признаёте, что действительно заслуживаете единодушного осуждения от своих бывших товарищей? Хотите, я зачитаю вам протокол собрания?

Пётр Поликарпович отрицательно покачал головой.

– А зря! – воодушевляясь, вскрикнул следователь. Взял со стола бумагу и стал читать, словно со сцены: – Исключить из рядов Союза советских писателей за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова.

Пётр Поликарпович вскинул голову.

– Как! Гольдберга и Басова тоже исключили? А их-то за что?

Следователь нахмурился.

– Вскрылись факты, стало быть.

– И что, их тоже арестуют? – спросил Пеплов.

– Они уже арестованы, – последовал ответ. – Будут держать ответ по всей строгости социалистической законности!

– Но они ни в чём не виноваты! Я их обоих давно знаю. Это честные люди! Гольдберг ещё при царе ссылку отбывал!

Какой же он враг?

– И в партии эсеров состоял, – важно кивнул следователь.

– Да, состоял. Ну и что? Эсеры многое сделали для революции. Особенно левые. Вы, может, по молодости своей не знаете, что левые эсеры в семнадцатом были заодно с большевиками, вместе брали Зимний дворец, устанавливали власть Советов. А правые эсеры боролись с царизмом, когда большевиков ещё не было в помине. Всё крестьянство в семнадцатом году было за эсеров – об этом не надо бы забывать.

– Вон как ты заговорил! – изумлённо выдохнул следователь. – Вот и сказалась в тебе кулацкая душонка!

Пеплов вскинул голову.

– Я никогда кулаком не был! Почитайте мою биографию. Сделайте запрос в Канский округ. Там хорошо знают нашу семью. Я с детства работал в поле с отцом. Даже в школе толком не учился, всего два класса и смог закончить. Нужда проклятая! Семье надо было помогать, работали от темна до темна. Эх, да что вы об этом знаете! – вздохнул и отвернулся.

Следователь с кривоватой ухмылкой на лице взирал на Пеплова. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним сидит отъявленный враг. Сказанные Пепловым слова не произвели в его сознании никакого действия. Рассуждения о правых и левых эсерах (разницы между которыми он не видел и считал их, наряду с меньшевиками и кадетами, опаснейшими и коварнейшими врагами советской власти), заверения в честности того или иного человека, апелляции к героиче-



скому прошлому и незапятнанной биографии – всё это не имело ровно никакого значения в его глазах. Значение имел лишь протокол допроса, лежавший на столе. Силу непреложной истины имели многочисленные циркуляры, инструкции, спецуказания и шифровки, которые он ежедневно получал под роспись в первом отделе областного управления НКВД. Вот там были истина и смысл всего, что происходит в мире! Других истин нет и быть не может! Бредни о том и о сём, переливание из пустого в порожнее и бесконечные споры и прения – вот это и есть главное зло! Нужно не говорить, а действовать. Нужно быть твёрдым и решительным, как заповедовал товарищ Сталин! А все эти уклоны и шараханья, все эти «аграрные вопросы», интернационалы, НЭПы и прочая дребедень – только вредят и заводят в тупики.

Рождественский сел за стол и подвинул к себе бумаги.

– Значит, продолжаем упорствовать, – проговорил как бы про себя. – Ну что ж, смотрите, как бы не пожалеть потом. – Он бросил быстрый взгляд поверх бумаг на Пеплова. Тот сидел чуть боком и думал о своём.

– Жена ваша может пострадать, – продолжил следователь. – В настоящее время решается вопрос о выселении её из квартиры.

Он лгал. Жену Пеплова вместе с малолетней дочерью давно уже выгнали из просторной четырёхкомнатной квартиры в центре города. Все эти дни она мыкалась по разным углам, ночевала Христа ради у знакомых (не все пускали). Однажды

даже заночевали на берегу Ангары под перевернутой лодкой. Шёл холодный апрельский дождь, было мокро и грязно и очень холодно. Светлана Александровна переживала, конечно, не за себя. Трёхлетняя дочь не знала в своей короткой жизни ничего подобного! О ней заботились с пелёнок, купали игрушки и получали молочные продукты по спецталонам. Была своя комната и тёплая уютная постелька. И вдруг – скитанье по чужим углам, вдруг – здоровенный перевернутый баркас, под которым так темно и страшно. Вдруг – нечего есть и нечего даже надеть на себя. Никогда бы Светлана Александровна не поверила, что такое с ней случится при советской власти. Но ей следовало поблагодарить судьбу за то, что саму её не взяли вслед за мужем, а дочь не отдали в детдом, куда и передавали всех детей «врагов народа» (и там уже учили ненавидеть своих родителей и откликаться на новую фамилию). Всё это было очень даже возможно. Но – не случилось. Быть может, потому, что Светлана Александровна прошла наравне с мужем суровую школу партизанской борьбы (это с неё он писал эпизод военно-полевого суда над Елизаветой Пуховой). Тогда она вела себя до сумасбродства смело. И это сошло ей с рук. Нынче ей опять пригодились и эта решительность, и безрассудная смелость.

Сразу после ареста мужа она стала обивать пороги высоких кабинетов. Но очень скоро поняла, что хозяевам этих кабинетов теперь не до неё – у них у всех свои проблемы и свои страхи. Больше других она надеялась на Басова и Гольдбер-

га, это были наиболее уважаемые люди и всем известные литераторы. Но именно их и арестовали в числе первых. Когда это случилось, Светлана Александровна на какое-то время впала в отчаяние. Всё рушилось, не на что было опереться, и уже не осталось никакой надежды! Когда в Иркутск прибыл член комиссии партийного контроля ВКП(б) тов. Шкирятов, она написала ему слёзное письмо, в котором умоляла спасти мужа. Она писала в письме о героической борьбе мужа в партизанском отряде, перечисляла написанные им книги и процитировала хвалебные отзывы Максима Горького, Вячеслава Шишкова, а также руководителей партизанского движения Восточно-Сибирского края. Почти такие же письма за её подписью ушли в Москву – Калинин и Молотову. Но эти двое были далеко и слишком высоко. А этот – вот он, совсем рядом. Нужно только попасть к нему на приём. Она сможет убедить его, расскажет то, что не поместилось в письме и чего нельзя передать на бумаге! Силу эмоций и трепет раненого сердца – вот что нужно было почувствовать этому человеку, посланному сюда как раз для того, чтобы навести порядок и прекратить дичайший произвол. Она так и написала в конце письма: «Товарищ Шкирятов! Убедительно прошу принять меня лично».

Но таких заявлений на имя высокого гостя в те дни поступало великое множество. Принимать каждого просителя он был не в состоянии, на это у него просто не было времени. Спасибо, что прочитывал все эти послания, отличавшиеся

отменной длиной и ненужными подробностями. Да и с какой стати он будет выслушивать многочисленных родственников врагов народа? С ними пусть разбираются те, кому это положено. Твёрдой рукой он вывел резолюцию на письме жены Пеплова: «Товарищу Лупекину. 26 апреля 1937 г.» – и всё! Никаких комментариев и намёков. Словно бездушная машина переместила документ из одного потока в другой, щёлкнуло реле – и документ этот был увлечён, словно осенний лист, бурным потоком из заявлений, писем и просто жалоб и отнесён куда-то в мрачные закрома, где и пролежал без движения долгие годы. Сыграл ли он какую-то роль в судьбе Петра Поликарповича? Да, сыграл. Товарищ Лупекин отписал это письмо капитану Рождественскому, а тот, бегло прочтя текст и внимательно изучив резолюцию товарища Шкирятова (сделанную красным карандашом), пришёл к очевидному выводу, что за Пеплова никто вступаться не будет – ни в Иркутске, ни в Москве. Если бы товарищ Шкирятов хотел заступиться за писателя-партизана, то он бы сделал какой-нибудь намёк. Написал бы, к примеру: «Прошу ещё раз проверить имеющиеся факты!» Или: «Прошу отнестись предельно внимательно к делу Пеплова П. П.». Или приказал бы этапировать Пеплова в Москву, мол, сами во всём разберёмся. Тогда бы уж, конечно, Рождественский сделал конкретные выводы и предпринял необходимые шаги. А так, что ж... Придётся ему самому решать вопрос с этим Пепловым. И со всеми остальными последственными – тоже!

Вот он и сказал Пеплову, что, дескать, от него одного зависит участь его несчастной семьи. Арестовывать жену пока что не стали, а вот из дома выгнать – это обязательно будет сделано, если только Пеплов продолжит своё запирательство!

Пётр Поликарпович дрогнул. Это был второй удар за какие-нибудь полчаса. Сначала товарищи его предали. А теперь жена с дочерью гибнут. И получается, что виноват в этом он один! Ему стало трудно дышать, грудь сдавило стальным обручем. Опустив голову, сгорбившись, он сидел на стуле, словно застыв. Жить не хотелось. Но умереть своей волей он не мог. Так что же делать, признать несуществующую вину? Погибнуть самому и тем спасти своих близких? О, это было бы проще всего! Но здравый смысл противился такому исходу. Если он признается, что он шпион и диверсант, подпишет бумаги – что тогда подумает о нём жена? Не он ли учил её твёрдости и высоким принципам? Не он ли хвалил её за смелость и преданность делу революции? Захочет ли она жить после этого? И что будет знать о нём его дочь, когда вырастет? И не вернее ли тогда будет выгнать жену и дочь из дома, когда точно будет установлено, что он – враг народа и гнусный предатель?

– Ну что, надумали? – словно издалека услышал он вопрос следователя. Поднял голову и встретил немигающий взгляд больших тёмных глаз. И по глазам этим он понял, что этих людей ничем не проймёшь. Жалость им неведома. Состра-

дание для них – пустой звук. А истина вовсе не нужна. И он ответил твёрдо, уже не колеблясь:

– Я уже сказал, что я ни в чём не виноват. А жену и дочь трогать не советую. Я товарищу Сталину обо всём напишу.

Следователь постучал карандашом по столу.

– Так-так... Ну что ж... – не спеша поднялся и сделал два шага, резко развернулся и в упор посмотрел на Пеплова. – Пеняйте тогда на себя. Вы не хотите помочь следствию в разоблачении врагов советской власти, упорно не желаете саморазоблачиться, тем самым усугубляете свою вину и будете держать ответ по всей строгости закона. – И, повернувшись к стоящему у двери конвоиру, приказал: – Увести!

Пётр Поликарпович медленно выпрямился, словно сбрасывая тяжкий груз. Был пройден некий рубеж. Он устоял, не сломался. А значит, есть ещё надежда на спасение!

Совсем другое настроение было у капитана Рождественского. Он досадовал на себя, что не смог добиться признания от подследственного. Все члены террористической организации бывших партизан уже признали свою вину. В том числе главный заговорщик – Яковенко Василий Григорьевич. О, это крупная шишка, не чета Пеплову! Бывший нарком земледелия, затем – нарком социального обеспечения. Большой человек был – там, в Москве. И всё равно развязали ему язык. Всё выложил, как на блюдечке. И подельники его тоже все уже признались – Першин, Александров, Шолохов, Ефремов, Рудаков, Лобов – всех вместе больше ста человек.

В этом деле был замешан Николай Бухарин, любимчик Ленина. Однако же – сидит и он на Лубянке и уже даёт признательные показания. Хотя, чёрт их там знает, сегодня он сидит, а завтра выйдет на свободу и тебя же во всём обвинит.

Что же делать с этим Пепловым? Приписать его к расстрельным спискам или повременить? Жена его, чертовка, пишет всем подряд, в Москву несколько писем отправила. А ну как придёт указание провести дополнительную проверку, досконально во всём разобраться? Было бы на руках признание Пепловым своей вины – тогда не страшно, тут уж никто сомневаться не будет. А так всяко может случиться. Могут и оправдать Пеплова. Бывали такие случаи. А значит, с Пепловым нужно повременить. Пусть пока посидит в камере, подумает, помучается. Подельников его, понятное дело, пустят в расход. Его тоже можно будет поставить к стенке – в любой момент времени. «И волки сыты, и овцы целы!» – сказал сам себе Рождественский и сразу почувствовал себя легче. Задача была решена. Он не нарушил инструкции, не утратил бдительности и беспощадности к врагам советской власти, но и не перешёл черту, за которой могла быть пропасть. Расстреляют ли Пеплова сейчас или чуть позже – не суть важно. Главное, он сидит в тюрьме и уже не опасен. Заговор раскрыт и раздавлен тяжёлой дланью! Ха-ра-шо!

Улыбаясь яркому весеннему солнцу, Рождественский шёл упругой походкой по улице. Молодое тренированное тело готово было оторваться от земли, ноги пружинили, грудь взды-

малась от холодного чистого воздуха, по жилам бежала горячая революционная кровь, и всё было по силам, всё вокруг было твоё, законное! Он чувствовал себя победителем, хозяином этой необъятной земли. Революция уверенно шагала по планете, и от её пламенного взора не могла укрыться никакая дрянь и зараза. Всё было ясно и понятно. Ощущение правоты придавало бодрости и удесят�еряло силы, он был почти счастлив в эту минуту. Счастье усиливалось, когда он вспоминал свою молодую жену, представлял, как придёт вечером домой и сядет за уставленный судками и тарелками стол. Налъёт из графина стопку холодной водки и подденет вилкой селёдочный хвост. Жена станет спрашивать его о делах, и он сдержанно расскажет о том, как тяжело ему сегодня было допрашивать очередного врага, как враг изворачивался и никак не хотел признать свою вину, а он приводил всё новые факты, из которых неизбежно следовало... Но враг всё равно не признавался, тянул время и нагло смеялся ему в лицо... а он держал себя в руках, как и положено советскому следователю, хотя всё в нём кипело и хотелось схватить стул и дать этим стулом по голове ненавистному врагу... Но этого нельзя, потому что он настоящий чекист и должен держать себя в руках... и вот так каждый день, каждый день и почти каждую ночь – всё допросы и допросы, всё враги и шпионы, заговоры и сплошная ложь... «Если б ты знала, как мне порой бывает тяжело!...» – так он скажет жене, когда размякнет от водки и разомлеет от закуски.



Жена будет смотреть на него преданными глазами, во взгляде её будут мешаться страх и гордость – за своего мужа, такого сильного и мудрого, нестигаемого борца с безжалостными врагами революции. «Господи, как же мне повезло, что я его встретила на жизненном пути!» – последнее восклицание Рождественский охотно вложил в уста своей супруги. И в общем-то он был недалёк от истины. Жена и в самом деле обожала его. В её глазах он был настоящий герой, неустрашимый и нестигаемый борец с мировым злом, за счастье и процветание всех угнетённых и обездоленных людей. Каждый день он идёт на работу, как на бой! И домой возвращается предельно усталый, опустошённый. Оно немудрено – пообщайся-ка со всеми этими троцкистами-вредителями!.. Если бы ей сказали, что муж её хладнокровно пытается ни в чём не повинных людей, заставляет их признаваться в несуществующей вине и тем самым обрекает их на позорную смерть (а семьи их – на страшные унижения), она бы этому ни за что не поверила. И уж никак она не могла предположить, что муж её – этот рыцарь без страха и упрёка – сам будет признан врагом народа и расстрелян через каких-нибудь два года, её саму также арестуют и отправят в знаменитый «АЛЖИР», где она просидит вплоть до ликвидации лагеря в 1953 году, из которого выйдет уже старухой – беззубой и полусумасшедшей, никому не нужной на этом свете. Всё это ждало её – её и многих, очень многих женщин первой в мире Страны Советов. А пока она хлопотала по дому, готовила ужин

своему Коленьке и предвкушала оживлённое застолье и не менее оживлённую ночь.

Петра Поликарповича отконвоировали в его одиночную камеру, в которой к тому времени набилось так много народу, что уже и сесть было негде. Пётр Поликарпович кое-как пристроился на нарах в самом углу; привалился к стенке, закрыл глаза и как бы задремал. Минутный душевный подъём миновал, наступило расслабление, и он ощутил страшную тяжесть во всём теле и в голове. Было такое чувство, будто через голову протягивается медленный поток – тяжкий, тягучий, нескончаемый. И его словно бы уносило этим потоком куда-то вдаль, где нет ни чувств, ни мыслей, ни боли; при этом он понимал, что он всё там же и он всё тот же – измученный, обессиленный, потерявший всякую надежду человек. Что-то жуткое навалилось на него, и не было сил сбросить эту жуть, расправить плечи и свободно вздохнуть. Вспомнились слова следователя о том, что товарищи единодушно осудили его, исключили из Союза писателей, не сказав ни единого слова в защиту. «Как же они могли?!» – Он судорожно стиснул челюсти, так что зубы закрипели. Перед глазами повлеклась вереница лиц – сумрачный, углублённый в себя Гольдберг, невозмутимый, уверенный в себе Басов, вечно чем-то удивлённый Балин, простодушный Волохов, ехидный Лист, вкрадчивый Седов. А это кто такой?.. Пётр Поликарпович присмотрелся – да это же Володька Зазубрин из Новосибирска! Бородатый, весёлый, бодрый, энер-

гия так и бьёт ключом – всё ему по плечу и сам чёрт не брат! Пётр Поликарпович вдруг вспомнил, как в конце зимы Басов сказал ему вполголоса, поймав за руку в коридоре и отведя в сторонку: «А ты знаешь, что Володю Зазубрина в Москве арестовали? Варвару его взяли вместе с ним. Говорят, дела его плохи». Пётр Поликарпович тогда не поверил, слишком это было абсурдно. Но теперь вдруг подумал, что всё это может быть правдой и Володька Зазубрин теперь тоже сидит в какой-нибудь камере и всё думает, думает о том, что случилось, и – ничего не понимает. Бьётся над этой загадкой и Пётр Поликарпович: за что могли арестовать первого пролетарского писателя, роман которого публично похвалил сам Ленин? Уж не за ту ли повесть, которую Зазубрин давал ему почитать ещё в Новониколаевске и которую тогда не принял ни один журнал? Повесть действительно была страшная, так что поверить в написанное было нельзя. Но теперь Пётр Поликарпович понял, что всё изображённое в повести – чистая правда! Ведь Зазубрин описывал лишь то, что видел своими глазами, когда в начале двадцатых служил в ВЧК. Зачем же ему было выдумывать? Зачем клеветать на советскую власть, за которую он жизни не щадил – ни своей, ни тех, кто был против? Воевал-воевал, уничтожал и расстреливал направо и налево, а потом вроде как стыдно стало – уже тогда, в двадцать третьем, когда всё было свежо и близко и когда ещё можно было называть вещи своими именами.

Секунда, и огненные строчки той жуткой повести вспых-

нули перед ним:

«...В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

– Святый Боже, Святый Крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Он упал на колени:

– Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек. Чётко бросил сквозь зубы:

– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость – толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:

– Дать ему пинка в корму – замолчит.

Высокий, вихляющийся Семён Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в разошедшей раме:

– Святый Боже, Святый Крепкий... Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков:

– В лопотине-то те, дорогой мои, чижеле. Лопотина, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, растёгивал у него чёрный репсовый подрясник.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин береж-

но развязал тесёмки у щиколоток.

— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великое.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стискивая брови, спокойно щурился от дыма.

— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мёртвые, расширенные от ужаса.

Пятая, женищина, — крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

После четвёртой пятёрки Срубов перестал различать лица, фигуры приговорённых, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыхания — дурманящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землёй. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мёртвых. Пятёрка за пятёркой.

В тёмном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к

потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Кровью парной, потом едким человеческим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усиленным таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьётся земляной пол. Жёлто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

– Я привык, чтобы меня раздевали холоду. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

– Раздевайся, гад.

– Дайте холоду.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств – генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскалённый песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвёртывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

– Тьфу! Не продыхнёшь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди – и ни шагу. Заявил с гордостью:

– Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дёрнув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевки. Срубов ему строго:

– Не нервничать.

И властно и раздражённо:

– Следующую пятёрку. Живо. Распустили слюни.

Из пятёрки остались две женицины и прапорищик Скачков.

Полногрудая вислозадая дама с высокой причёской дрожала, не хотела идти к стенке. Соломин взял её под руку:

– Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто ка друга баба.

Голая женицина уступила одетому мужчине. С дрожью в холёных ногах, тонких у щиколоток, ступала по тёплой липкой слизи пола. Соломин вёл её осторожно, с лицом озабоченным.

Другая – высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у неё синие. Брови густые, тёмные. Она говорила совсем детским голосом и немного заика-

ясь:

— Если бы вы знали, товарищи... жить, жить как хочется...

*И синевой глубокой на всех льёт. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопчёнными револьверами. А глаза у всех неотрывно на неё. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.*

*Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в неё. Захлебнуться в солёном красном угаре... Решительно два шага вперёд. Из кармана — чёрный браунинг. И прямо между тёмных дуг бровей, в белый лоб — никелированную пулю. Женищина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной причёской...»*

Петру Поликарповичу сделалось жутко. Вспомнились слышанные однажды строчки сгинувшей в лагерях поэтессы:

Всё вижу призрачный, и душный,  
И длинный коридор,  
И ряд винтовок равнодушных,  
Направленных в упор...



Команда... Залп... Паденье тела.  
Рассвета хмури и муть.  
Обычное простое дело,  
Не страшное ничуть.  
Уходят люди без вопросов  
В привычный ясный мир,  
И разминает папиросу  
Спокойный командир.  
Знамена пламенную песню  
Кидают вверх и вниз,  
А в коридоре душном плесень  
И пир голодных крыс.

Пётр Поликарпович вздрогнул и словно бы очнулся, посмотрел мутными глазами по сторонам. Вокруг были люди – понурые, притихшие, но всё-таки живые, тёплые, с целыми черепами и с ещё не погасшими надеждами. «А если и их всех так же вот, в подвале будут стрелять: пускать пулю в податливый мягкий затылок, а затем – цеплять петлёй за шею и тянуть наверх, в открывшийся люк. А там уже грузовик дрожит от натуги в ожидании очередной партии окровавленных обгаженных тел. Почему бы и нет? Ведь было уже так! В двадцатом году. Сколько десятков тысяч тогда расстреляли по всем подвалам ВЧК? А мы знали и – принимали как должное. Читали эту самую повесть, удивлялись, качали головами, даже и задумывались над прочитанным. Но – не ужасались, не цепенели от ужаса, не холодели до кончиков пальцев

– как теперь вот! Это потому, что не примеряли всё это на себя. Думали: это всё не про нас, а – про других, про гадких и зловредных, про ненужных на этой земле. А вот поди ж ты, теперь, может статься, ты сам никому не нужен и повесть эта – про тебя!

Сердце сильно билось. Хотелось вскочить, броситься вон из душевой камеры и бежать, бежать без оглядки – в пустые безлюдные пространства, продираться сквозь густые ветки, переплывать холодные реки и всё дальше уходить от этого кошмара, от простреленных черепов и дымящейся крови, от дрожания рук и судорог души! Не думать, не видеть, не вспоминать. Пётр Поликарпович с силой сдавил себе виски и согнулся пополам, будто хотел спрятать голову у себя на груди. Так он сидел, мерно раскачиваясь, а рядом теснились люди, и никому не было до него дела, потому что у каждого была своя беда, своя неизбывная боль, свой крест и свой конец – совсем уже близкий.

Пётр Поликарпович рвался на волю, стены давили его. Но про него словно забыли. Других каждую ночь забирали на допросы, а под утро возвращали – избитых, измученных, едва понимавших, что с ними и где они. С ними отваживались – давали пить из мятой алюминиевой кружки, мочили водой тряпочки и прикладывали ко лбу, к разгорячённым глазам, осторожно вытирали сочившуюся кровь, неумело стягивали сломанные кости. Избитые скоро исчезали из камеры. Куда их забирали – никто не знал. Вместо них появля-

лись другие – в городских костюмах и с растерянными лицами и расширенными зрачками. Их вскоре тоже приходилось перевязывать и отпаивать водой, и они в свою очередь исчезали вслед за предшественниками. Всё двигалось и менялось вокруг. Ничего не менялось лишь в положении Петра Поликарповича. Ни вызовов на допросы, ни каких угодно вестей – ничего! Он сидел в каменном мешке, где не было даже маленького оконца с дневным светом, зато в углу стояла деревянная ёмкость с дерьмом. Трижды в день арестантов кормили: утром давали кусок чёрного хлеба и кружку кипятку, в обед – миску баланды, вечером – снова кипяток. Пётр Поликарпович пробовал было проситься на прогулку, но конвоир так на него рявкнул, что Пётр Поликарпович молча сел на своё место и больше не задавал вопросов.

Прибывшие с воли приносили дурные вести. Бывший главный врач городской детской больницы Левантовский, с которым Пеплов был немного знаком по прежней жизни, поведал об арестах первых лиц области. Был арестован секретарь краевого оргбюро ЦК ВКП(б) Леонов. И сразу вслед за ним взяли первого секретаря крайкома Разумова. Его заместитель, первый секретарь крайкома Козлов пошёл вслед за ним. Была арестована Нина Михайловна Горбунова, занимавшая пост второго секретаря Иркутского горкома ВКП(б). Вместе с ней взяли всех секретарей горкома – Шеметова, Сахарова, Жука. Комсомолия тоже понесла серьёзные потери: прямо из кабинетов забрали Захарова, Полину Беспро-

званных, Игнатова – секретарей крайкома, обкома и горкома ВЛКСМ. Среди бела дня посадили в чёрный воронок председателя облисполкома Пахомова. А ещё арестовали Важнова, Букатова, Шапиро, Калюжного, Кушановского, Тобиаса, Русакова, Косокова, Кауфана, Гисмана, Ербанова, Данилова, Чимидуна, Барайдина и ещё множество известных всему городу лиц. Все они занимали высокие посты: кто-то руководил научным институтом, кто-то заведовал больницей, кто-то руководил железной дорогой, были тут и профессора, и мастера по шахматам, и даже действительный член Американского антропологического общества – Бернард Эдуардович Петри. По мере того как Левантовский называл фамилии своим приглушённым голосом, Пётр Поликарпович деревенел и тупел. И под конец перестал чувствовать что бы то ни было, словно он попал в безвоздушное пространство. Мелькнула мысль, что перед ним провокатор. Или нет, скорее это сумасшедший. Но и это не так. Это всё похоже на сон, на бред воспалённого ума. Это всё ему лишь кажется – и камера с истерзанными людьми, и этот интеллигентный человек, так спокойно сообщающий ему невероятные вести. Стоит лишь крепко зажмуриться, р-раз! – и всё сгинет, как будто и не было никогда!

– Пётр Поликарпович, что с вами? Вам плохо? – послышался участливый голос.

Пеплов раскрыл глаза и увидел печальные глаза Левантовского. Нет, он не сумасшедший и не провокатор. И всё это

происходит в действительности. Но тогда, быть может... Он схватил Левантовского за руку.

– Юрий Михайлович, а что если это контрреволюционный переворот? Власть захватили враги советской власти, и теперь они сажают всех преданных партии людей. Ведь это всё объясняет!

Левантовский печально покачал головой, произнёс со слабой улыбкой:

– Если б так! Это было бы проще всего. Но ведь красный флаг всё ещё висит над обкомом. И Сталин сидит в Кремле. Молотов с Ежовым тоже на своих местах. Советская власть сильна, как никогда! Теперь все только и говорят о советской власти и о партии большевиков. Митинги проходят каждый день, Сталина славословят, а врагов ругают, требуют суровой расправы над ними. Это мы с вами враги и контрреволюция. Так-то, дорогой Пётр Поликарпович.

– Я не враг советской власти! – вскинулся Пётр Поликарпович.

Левантовский согласно кивнул.

– Охотно верю. А как насчёт этих? – И он кивнул на соседей по камере.

Пётр Поликарпович скосил глаза, подумал несколько секунд.

– Не знаю. Я ведь с ними незнаком. Мало ли что бывает! Левантовский опять кивнул.

– То-то и оно. Все теперь так и рассуждают, особенно те,

кто на воле. Они ведь не знают, кто и за что арестован. А может, нас всех за дело посадили? Откуда им знать? И вы, Пётр Поликарпович, если были бы теперь на свободе, тоже осуждали бы врагов и вредителей, требовали суровой расправы с негодяями.

– Да вы что? С чего вы взяли? Я бы никогда не осудил невинного человека.

– А врага осудили бы?

Пётр Поликарпович неуверенно кивнул.

– Пожалуй, врага бы я осудил. Если бы точно знал, что он враг.

– Ну вот вам и объяснение! Нас и считают врагами! А как же иначе? Если в газетах пишут, что мы шпионы и диверсанты (а газетам мы привыкли верить), и если следователи добиваются от нас чистосердечных признаний и публичного покаяния, а всякие докладчики и агитаторы без усталы выступают на митингах и собраниях, проклиная подлых вредителей. Как тут не поверишь? Любому дураку ясно: правильно нас взяли! И всем нам прямая дорога – на тот свет. Чтoб не путались под ногами у нарождающейся смены, не мешали уверенной поступи самого справедливого общества в мире.

Пётр Поликарпович отстранился.

– Погодите. Я лично ни в чём не признался и признаваться не собираюсь. За что же меня расстреливать?

– На второй день после вашего ареста уже была статья в «Восточно-Сибирской правде», где сообщалось о том, что

вы во всём признались, изобличены неопровержимыми уликами и показаниями своих подельников. И я, честно вам скажу, призадумался: а может, чего и было. И все остальные рассуждают точно так же. – Левантовский вздохнул. – Нет, Пётр Поликарпович, советскую власть никто и не думал свергать. И это всё, – он обвёл рукой камеру, – её милые проделки. С воли мы точно помощи не дождёмся. Разве что от родных. Но они сами теперь в опасности. Жён ведь тоже берут вслед за мужьями. Детей передают в детские дома. А вы разве не знали? – И Левантовский с грустью посмотрел на Пеплова. Тот в первую секунду не знал, что сказать. Поверить в услышанное было слишком страшно, но и не верить он не мог. Зачем Левантовскому обманывать его? Если только... его самого не обманули.

– А у вас есть дети? – быстро спросил Пеплов.

Левантовский кивнул.

– Есть. Дочь работает педиатром в детской больнице. А сын – геолог. На Дальнем Востоке, в Дальстрое. В тридцать первом завербовался. Погнал за длинным рублём. Может так случиться, что скоро мы с ним увидимся.

– Вы думаете, его тоже арестуют?

– Нет, я думаю, произойдёт обратное: меня отправят к нему.

– То есть как? – не понял Пеплов.

– На Дальний Восток, в бассейн Колымы, – чуть усмехнувшись, ответил Левантовский. – Там сейчас активно раз-

живается золотодобыча. Требуются рабочие руки. А кто туда по своей воле поедет? Ну, геологи – это ещё куда ни шло, им за это деньги платят. А вот мёрзлый камень долбить да тачку на себе возить с утра до ночи – на это охотников нет. Вот нас с вами и отправят на Колыму добывать золото для страны. Надо же на что-то покупать американские станки и немецкое вооружение.

– Вы полагаете, что нас могут отправить на Дальний Восток? – спросил Пеплов, ещё не зная, как отнестись к подобной перспективе.

– Это вполне вероятно, – был ответ. – Туда сгоняют заключённых со всего Советского Союза. Везут пароходами из Владивостока, сгружают на голый берег и гонят пешими этапами туда, куда Макар телят не гонял. Сын рассказывал, когда приезжал в отпуск в прошлом году. И знаете, о чём он поведал? – Глаза Левантовского неожиданно сверкнули, зрачки на миг расширились и обратились в точки. – Он работает в Дальстрое с тридцать второго, ещё застал Блюхера и его команду. Первую зиму, когда ещё не было заключённых, все они жили в армейских утеплённых палатках, и никто тогда не умер. А через год, осенью, по морю прибыл первый этап – двенадцать тысяч заключённых. Продуктов для них не завезли вовремя. И никаких строений не было приготовлено. Как вы думаете, сколько из них дожили до весны?

Пеплов задумался на секунду, потом ответил:

– Ну, по моему прошлому опыту, думаю, процентов девять-



носто... или, может, восемьдесят, учитывая тамошний климат.

Левантовский опустил голову и глухо проговорил:

– Все двенадцать тысяч заключённых умерли от голода, никто не пережил ту зиму. Даже охранники погибли. Собак всех поели, кошек ловили, птиц. Раскапывали свежие могилы и отрезали куски мяса от мертвецов. Травились трупным ядом, конечно. Теряли рассудок. Кто-то раньше умер, кто-то чуть позже. Кто от голода, кто от авитаминоза. Кого-то блатные сразу убили, а кто в сопках замёрз. Некоторые пытались бежать. Но куда там побежишь – зимой, в пятидесятиградусный мороз, без одежды, без продуктов. Населённых пунктов в нашем понимании там нет. Поезда туда не ходят и ещё тысячу лет не будут ходить. Самолёты не летают. Обычных дорог – и тех нет! Бежать там попросту некуда.

Пётр Поликарпович медленно покачал головой.

– Этого не может быть. Я вам не верю. Как же это? Завезли столько людей, а продуктов не предусмотрели? Это что, диверсия? Вредительство? Кто-нибудь наказан за это?

Левантовский пожал плечами.

– Ну да, расстреляли несколько человек для острстки. А на следующий год история повторилась. В ноябре тридцать третьего снова этап – шестнадцать тысяч. И снова – в чистое поле, в мёрзлую землю. На этот раз привезли муку в мешках, какие-то крупы, рваные палатки. Но продукты быстро закончились, а палатки не спасали от лютых морозов. Адаптация

на Крайнем Севере – очень непростая штука, даже при хорошем питании и нормальных бытовых условиях. А когда, я извиняюсь, людям жрать нечего, а на ногах резиновые чуни – это в сорокаградусные морозы, – что тогда? И вот итог: из шестнадцати тысяч заключённых до весны дотянули чуть более трёх сотен. Да и тех пришлось срочно вывозить на Большую землю, все получили инвалидность, признаны негодными к труду. Считай – калеки на всю жизнь. Кто без руки, кто без обеих ног. У всех носы отморожены, куриная слепота, пеллагра, дистрофия, глубочайшая душевная травма.

Пётр Поликарпович с беспокойством огляделся. Ему вдруг показалось, что это он оказался на краю земли, в царстве холода и неизбывной тоски. Что такое холод – он знал не понаслышке. Студёную сибирскую зиму девятнадцатого года он провёл в глухой присаянской тайге. Тогда у них, правда, были продукты. Ведь все были местные. Охотились в тайге, таскали рыбу из лунок, жители окрестных деревень им помогали, прятали раненых от колчаковцев, отогревали в лютую стужу.

А если опять доведётся попасть в тайгу, без пищи, без нормальной одежды, да под конвоем?.. Пётр Поликарпович передёрнул плечами и подумал: избави бог от такой судьбишки. Уж лучше сразу умереть.

Он пошевелил губами и произнёс задумчиво:

– Не знаю, Юрий Михайлович. Как-то вы всё видите в мрачном свете. Я лично не собираюсь ехать ни на какой

Дальний Восток.

– Ну так вас в Бамлаг отправят – это ненамного лучше. Там тоже нужны рабочие руки – рельсы прокладывать сквозь тайгу. От Иркутска не так уж и далеко – всего тысяча километров.

Пеплов нахмурился.

– Туда я тоже не поеду. Я ни в чём не виноват перед родной советской властью, и я собираюсь это доказать.

Левантовский через силу улыбнулся.

– Ну что же, желаю вам успеха!

Пеплову почудилась насмешка в последней реплике. Он хотел ответить какой-нибудь резкостью, но в последний момент сдержался. Уж очень жалко выглядел его оппонент. Ему тоже, должно быть, тяжело и больно – гораздо тяжелее, чем Пеплову. Ведь он не верит в благоприятный исход дела, заранее согласен ехать на Колыму. Как же можно с этим жить? Покорно ждать, когда тебя отправят за тридевять земель на верную смерть. Или расстреляют прямо тут, заставив признаться в несуществующей вине. Нет, уж лучше сразу в петлю – и конец всем мучениям!

Пётр Поликарпович обвёл взглядом мрачные стены и убедился, что свести счёты с жизнью здесь нельзя. Нет ни верёвок, ни каких ни то упоров и крючков. Люди сидят так тесно, что любое намерение сразу же открывается. Здесь ты уже не хозяин самому себе. Тут можно лишь терпеть – всё, что ниспошлёт тебе судьба.

Больше они в этот день не говорили. Пётр Поликарпович, кое-как пристроившись между нарами и стеной, задремал. А когда проснулся, увидел, что Левантовского нет в камере.

— Забрали на допрос, — с неохотой сказал, повернувшись, угрюмый старик, когда Пётр Поликарпович спросил его о товарище.

Левантовского приволокли глубокой ночью, втащили в камеру за руки и бросили, словно куль, на цементный пол. Пеплов сразу же подошёл к нему. В тусклом свете едва разглядел разбитое в кровь лицо, слипшиеся от пота и крови волосы, различил прерывистое дыхание.

Левантовский раскрыл веки и, разглядев товарища, едва заметно кивнул.

— Вот видите, а вы мне не верили. Всем нам крышка. Теперь я в этом окончательно убедился. С этими людьми нельзя договориться. Мы для них — скот. Они нас за людей не считают. Но я им тоже кое-что сказал. Пусть не думают, не на того напали.

Пётр Поликарпович помог ему приподняться. Оторвал кусок своей рубахи, намочил водой из кружки и протянул товарищу.

— Спасибо, — сказал тот дрогнувшим голосом. Стал осторожно вытирать лицо, морщась и вздрагивая. — Это ничего, — приговаривал придушенным голосом. — Щиплет немного, а так ничего, не очень и больно. Главное, что кости целы.

Пётр Поликарпович молча смотрел на него. Вдруг заме-

тил, что Левантовский улыбается.

– Вы знаете, я сегодня провёл с ними эксперимент. Вы сказал им всё, что о них думаю. По крайней мере, нам было о чём поговорить. Нельзя же всерьёз обсуждать все эти глупости, в которых нас обвиняют. За это и получил... Впрочем, меня всё равно бы избили. Ведь это у них основной метод поиска истины. С избитым человеком гораздо проще разговаривать. То, что обычному человеку приходится втолковывать по несколько раз, избитый понимает сразу, усваивает на уровне рефлексов. Другое дело – соглашается ли он с услышанным. Я, например, не согласился. Более того, я сам кое-что объяснил им о том, что они такое, откуда вышли и куда придут. И вот вам результат.

– Что же такого вы им сказали? – спросил Пеплов.

– Да всё то, о чём думал много лет, но не решался никому сказать, даже своим близким. А теперь вдруг подумал: какого чёрта? Всё равно умирать. Пусть услышат хотя бы от меня правду-матку.

– Очень интересно! – подхватил Пётр Поликарпович. – Вы знаете какую-то особенную правду?

– Да, знаю, и это вовсе не секрет для думающих людей. Я им в лицо сказал, что социализм у нас невозможен. По крайней мере теперь. Лет через тысячу, пожалуй, он и может наступить. Но не путём революций и расстрелов, а исключительно естественным образом, без всех этих потрясений и убийств. Примерно так, как растёт и развивается любой ор-

ганизм в природе. Вчера это была личинка, сегодня гусеница, а завтра будет бабочка. И всё это постепенно, без резких переходов. Нельзя в одну секунду личинку превратить в бабочку! Так же как нельзя отсталую Россию вдруг сделать социалистическим раем. Общественное благополучие должно вызреть и подготовиться. На это нужны не годы, а – века.

Пётр Поликарпович нахмурился.

– Ну, это никакая не новость. Оппортунисты то же самое говорили. А Ленин их разоблачил и дал им принципиальную оценку.

Левантовский резко обернулся.

– Да какая же это оценка? Ленин умел лишь ругаться и навешивать ярлыки. Один у него ренегат, другой – политическая проститутка, третий – недоносок, кругом него сплошь сволочи и ублюдки. Виднейшего социал-демократа Каутского, который редактировал «Капитал» Маркса и состоял в переписке с Энгельсом, он печатно обзывал ренегатом, реакционером, прислужником буржуазии и только что матом не ругался. И заметьте: прав-то в итоге оказался именно Каутский! Он говорил то, что и все нормальные люди! Ленин даже со своими ближайшими соратниками расплевался, когда они ему пытались объяснить очевидные факты. Боевик и профан Сталин оказался ему ближе интеллигента и умницы Мартова! Вот вам Ленин и вся его наука. Все его статьи и речи – это сплошная демагогия, словесная эквилибристика, подтасовка фактов и безудержный поток оскорблений. Гово-

рили ему и Мартов, и Плеханов, и почти все европейские социал-демократы о том, что революция в России приведёт к массовой резне и деградации, что Россия не готова к социализму, что надо обождать лет двести по крайней мере. Приводили в пример Францию с её кровавым Термидором и полной вакханалией, закончившейся Наполеоном и национальным унижением. Цитировали Маркса, который презирал славян, а все свои теории готовил для просвещённой Европы, вовсе не имея в виду отсталую Россию. Что им на это отвечал Владимир Ильич? Да ничего вразумительного. Исторические лозунги и бесшабашная уверенность в том, что всё как-нибудь само собой наладится. Ничего другого он предложить не мог, потому что сам ничего не знал и не понимал, живя в своей Швейцарии. Ленин совершенно не знал Россию и пробавлялся глупыми фантазиями о сознательном мужике и грамотном рабочем. Верил в пустую теорию, совершенно не понимая практики. За месяц до Февральской революции он публично заявлял, что до революции в России он не доживёт, а вся надежда – на будущие поколения. И вдруг свершилась Февральская революция, притом – совершенно без участия большевиков! Тут они все и нагрянули – кто из-за границы, а кто-то из ссылки примчался на всех парах, ведь их всех выпустили тогда стараниями тех же эсеров и кадетов, которых большевики впоследствии объявили вне закона и стали безжалостно истреблять. А что они осенью семнадцатого устроили – об этом вы и сами знаете. Разогнали законно

избранное Учредительное собрание, захватили власть и стали управлять. Что же мы имеем теперь, двадцать лет спустя?

Пётр Поликарпович промолчал.

– Сначала была кровавая Гражданская война, уничтожение ближайших политических союзников и целых сословий, истребление лучших умов во всех сферах деятельности. В результате промышленность остановилась, продуктов не стало вовсе, наступил всеобщий хаос. Тогда большевики начали отбирать всё ценное у населения, называя это экспроприацией. А в деревне устроили форменный грабёж под видом продразвёрстки. За всю тысячелетнюю историю Руси не было ничего подобного! Даже татары так страшно не грабили русских крестьян, как это делали большевики в течение трёх лет. Вполне закономерно начались восстания. В двадцатом году Тамбовская губерния поднялась против большевиков. Целый год Тухачевский со всей своей армией не мог справиться с неграмотными крестьянами. Пришлось применять против них артиллерию и химическое оружие, выжигать целые сёла, сгонять пленных в концлагеря и массово брать заложников. А на следующий год случился неслыханный голод в Поволжье – с миллионными жертвами, с людоедством. Пять миллионов умерло от этого голода – можете вы представить эту цифру? В городах была полная разруха и дезорганизация. Ведь нельзя же всё время воевать и убивать, надо же что-то и производить! А об этом никто и не подумал.

Ведь что произошло? До семнадцатого года почти полве-



ка только и делали, что ругали царизм и капитализм. Уж так всё плохо было, что хоть в петлю лезь! И весь этот революционный энтузиазм на этом и держался – на ненависти к собственной стране, к её тысячелетней истории. При этом большевики обещали всем немедленное счастье – этакий социалистический рай, который наступит сразу после свержения царизма и утверждения советской власти. Но рай, как вы, наверное, знаете, не наступил и не мог наступить. Надежды на сознательность рабочих масс и крестьянства не оправдались. Нужно было работать, а не митинговать. Каждый работник должен быть заинтересован в своём труде, только тогда труд будет высокопроизводителен (о чём так беспокоился Ленин). Но этого-то интереса большевики и лишили всех поголовно – и рабочих на фабриках, и тем более крестьян в деревнях. Ну зачем крестьянину пахать и сеять, если урожай у него всё равно отберут? А рабочему зачем целый день стоять за станком, если на его нищенскую зарплату нельзя ничего купить? Вот и не стало в стране ничего – ни хлеба, ни металла, ни, извините, штанов. Вышло так, что правы оказались эсеры, а не большевики. Правы оказались европейские демократы во главе с Каутским! Но Ленин был неглупый человек. После Тамбовского мятежа он наконец-то понял, что нужно что-то кардинально менять в экономическом укладе. Он объявил НЭП и фактически признал правоту всех тех, кто говорил о невозможности немедленного социализма в России. Отменили продразвёрстку, дали свободу мелким кооператорам,

разрешили крестьянам продавать излишки хлеба и овощей. Лишь тогда народ немного перевёл дух. Деревня сталаживать, в городе появились продукты, кровавые бунты прекратились. И так бы всё и наладилось постепенно. Но в двадцать девятом Сталин неожиданно свернул НЭП, разогнал кооперативы и стал грубо насаждать колхозы. Вот тогда-то и случился ещё один страшный голод, от которого умерло уже не пять, а пятнадцать миллионов человек! И опять начался террор в деревне, затем сфабриковали процесс над Промпартией и Шахтинское дело, стали искать вредителей среди технической интеллигенции; потом, вы знаете, было убийство Кирова и самоубийство Орджоникидзе. Начались аресты и казни ближайших соратников Ленина, и наконец добрались до нас с вами. Иначе и быть не могло! Всё это предвидели умные люди задолго до семнадцатого года. Да только их никто не слушал.

Произнеся столь длинную тираду, Левантовский уронил голову на грудь. Пётр Поликарпович молчал, поражённый услышанным. Не думал он, что здесь, в тюрьме, услышит подобные речи. Он и хотел что-нибудь возразить, но стал припоминать и вспомнил, что уже слышал в разные годы и от разных людей схожие высказывания. И о невозможности революции в отсталой России. И о разоре деревни (это он и сам видел в своём селе). Знал и про страшный голод, выкосивший целые регионы. И про все эти странные процессы над старыми большевиками, соратниками Ленина, – с удив-

лением читал в газетах. Ходили упорные слухи о последних письмах Ленина, в которых он требовал смещения Сталина с поста генсека, говорил о его грубости, нетерпимости к иному мнению. Но об этих письмах говорить было опасно. В какой-то момент все это поняли и – замолчали. Стало вдруг невозможным говорить то, что думаешь. И все стали повторять лишь то, что требовалось в данную минуту. В двадцать восьмом, когда боролись с левым уклоном – ругали всех тех, кто требовал сворачивания НЭПа и немедленной индустриализации. А уже через два года стали ругать правый уклон – за то, что не верили в быструю индустриализацию и предлагали пожалеть мужика (так что даже появился нелепый термин: «левацко-правый уклон», пустил в оборот его сам Сталин (бездарно подражая Ленину), и все с готовностью согласились, что это и своевременно, и очень мудро). Так происходило каждый раз: надо было соглашаться с генеральной линией партии, даже если ты беспартийный и если ты думаешь иначе. А иначе – плохо будет тебе. Это поняли ещё до всяких процессов. Оно как-то само почувствовалось, будто в воздухе появилась некая примесь – и всё вокруг стало иным.

Левантовский взял его за руку.

– Я вам сейчас скажу кое-что... Этого почти никто не знает. Но в этом кроется разгадка всех этих процессов. Хотите знать?

Пётр Поликарпович медленно кивнул.

– Да. Я слушаю.

Левантовский с усилием сглотнул слюну. Глаза его лихорадочно блеснули в полутьме.

– Хорошо. Больше вам этого никто не скажет.

Он замолчал. Прикрыл глаза и судорожно втягивал в себя воздух.

– Всё очень просто, – вдруг заговорил он. – Сталин – типичный параноик. Бехтерев ещё в двадцать седьмом поставил ему диагноз. В декабре двадцать седьмого в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд психиатров и невропатологов. Я был на этом съезде, видел самого Бехтерева. Это был поразительный человек – настоящая глыба! Колоссальный ум! Так вот... Бехтерева неожиданно пригласили к Сталину для консультации. У того была бессонница, депрессия, грубые выходки всё чаще случались. Думали, что это от переутомления. Надеялись, видно, что Бехтерев выпишет ему какие-нибудь капли и всё это пройдёт. Но надо было знать Владимира Михайловича! Это был психиатр старой классической школы. Он был гениальный диагност и мог поставить диагноз с одного взгляда на больного. Авторитет его был непререкаем. И вот вместо пилюль и капель Бехтерев выносит диагноз Сталину: паранойя! И ещё прибавляет в разговоре со своим помощником, что во главе государства оказался опасный человек. Об этом разговоре сразу же стало известно Сталину. В тот же день вечером Бехтерев внезапно умирает в гостинице от острого пищевого отравления. А был он отменно здоров и ещё не очень стар, всего семьдесят лет

ему было. Все так и поняли: Сталин отомстил ему за унижительный диагноз, а заодно пресёк слухи о своей болезни. Но главное не в этом. Среди обычных людей чрезвычайно много скрытых параноиков, об этом вам скажет любой психиатр. Но у Сталина просматриваются откровенно садистские наклонности! Вот что страшно! И вот представьте, что у лидера государства развивается мания преследования, везде ему мерещатся враги и заговоры, при этом он обладает неограниченной властью и получает удовольствие от чужих страданий. Вы что думаете, его жена по идейным соображениям пустила себе пулю в лоб? Не-ет, просто так такие вещи не происходят. Это Сталин довёл её до самоубийства. И помните моё слово: дальше всё будет только хуже. Пока Сталин жив – не будет нам всем жизни. Нам и нашим детям! Мы все умрём – это вопрос уже решённый. Но сколько ещё людей погибнет – об этом подумать страшно! Боже мой, что же нам делать? За что нам всё это? – И он закрыл лицо руками.

Пётр Поликарпович сидел не шевелясь. Услышанное не укладывалось в сознании. Выходило так, что всё, за что он боролся, чему посвятил свою жизнь и отдал лучшие годы, – оказалось ложью, мерзостью, чудовищным обманом! Если всё услышанное верно хотя бы наполовину, тогда впору было сойти с ума. Или покончить с собой, как это сделал Орджоникидзе. Рядом лежали в забытии люди, кто-то стонал во сне, кто-то хрипел и метался; а один лежал ничком, как неживой. В камере было темно и душно, несло вонюю от па-

раши, невозможно было глубоко вдохнуть, отчего кружилась голова, а по телу расходилась слабость. Пётр Поликарпович уже жалел, что согласился слушать Левантовского. Лучше бы он ничего этого не знал. Пусть уж лучше будут допросы и обвинения, это всё равно легче, чем знать, что ты боролся за неправое дело и теперь обречён и вся страна тоже обречена – на мучения, на никому не нужные жертвы. Можно пойти на смерть ради высокого идеала, ради счастья будущих поколений, ради своих детей, наконец. Но вдруг узнать, что ты собственными руками, всей своей жизнью предуготовлял всеобщую катастрофу, за которую тебя будут проклинать потомки, – это было выше сил. Пётр Поликарпович обхватил голову руками и глухо застонал. Подобной душевной боли он ещё не испытывал. Избавиться от неё было нельзя, утишить нечем. Можно было лишь сжаться, собрать в кулак всю свою волю и удержать рассудок, не позволить себе впасть в безумие. Это был единственный способ противостоять страшной действительности.

В эту ночь Пётр Поликарпович больше так и не уснул.

А утром Левантовского опять вызвали на допрос. Уходя, Левантовский приостановился, посмотрел на Пеплова.

– Помните о том, что я вам сказал, – произнёс он и вышел. Больше Пётр Поликарпович никогда его не видел.

Юрий Михайлович Левантовский, врач-невропатолог 1-й городской детской больницы, был расстрелян в декабре тридцать седьмого года. Сына его также расстреляли, годом

позже – но уже в Магадане. Он был прихвачен «делом Берзина», признан участником «колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации» (как было сказано в приговоре). По этому выдуманному делу были расстреляны тысячи невинных людей. Но всё это было впереди, и всё это было очень далеко – за тридевять земель, куда Пётр Поликарпович никак не чаял попасть.

Жена его, не получив ответа на свои обращения – ни из Москвы, ни от местных властей – и не имея никаких вестей о своём муже, лишившись поддержки со стороны писательской организации и будучи выдворена из дома со всем тем, что могла унести (на руки она взяла свою трёхлетнюю дочь, а больше ничего взять не смогла), – уже поняла, что ничего и ни от кого она не добьётся и думать теперь надо лишь о дочери, спасти её одну – от холода и бесприютности и от голодной смерти в буквальном смысле этого слова. Несколько ночёвок на берегу студёной Ангары, череда унижений перед знакомыми, отчаянно трусившими оставить её хотя бы на время, мгновенное увольнение с работы и лишение всяких средств к существованию – вот что случилось с ней сразу после ареста мужа, авторитет которого казался ей незыблемым, а жизнь – прочной и удавшейся. Если бы не дочь, Светлана Александровна утопилась бы в Ангаре (так соблазнительно было прыгнуть в зелёную пенящуюся воду с нового железобетонного моста, на открытии которого Пётр Поли-

карпович совсем недавно произносил вдохновенную речь). Но проще всего было повеситься (говорят, сознание отключается уже через несколько секунд и это почти не больно). В крайнем случае можно броситься под поезд. По большому счёту это всё равно. Светлана думала об этом как-то отстранённо, словно бы речь шла о другом человеке. Представляла, как тело её будет изуродовано стальными колёсами, обратится в кровавое месиво. Это было, конечно, очень страшно. Но и жить было страшно, и главное, непонятно: зачем ей теперь жить? Мужа своего она больше никогда не увидит – это она как-то вдруг поняла, почувствовала как непреложную истину. И – смирилась с этим непостижимым знанием (так человек иногда безошибочно предчувствует свою смерть).

Почерневшая, осунувшаяся, ранним утром она брела по ухабистой каменистой улице где-то на самом краю города. Она сама не знала, как сюда попала. Помнила только, что долго шла по нескончаемому мосту в холодном тумане, затем поднималась на крутую гору, потом долго спускалась по камням и глине, потом ещё один затяжной подъём – всё это в предрассветных сумерках, в глубокой тишине. Вдруг словно что-то толкнуло её; она остановилась, опустила дочь на землю и стала осматриваться. Она находилась на вершине довольно крутого склона. Дорога из-под самых ног уходила вниз и терялась в беспорядочном нагромождении деревянных домиков, заборов, огородов. Словно огромная чаша – перед ней расстиралась глубокая впадина, вся изрезанная



кривыми улочками, усеянная оврагами и невысокими холмами. Повернувшись в другую сторону, она увидела густой сосновый лес, от которого пахло свежестью и веяло удивительным покоем. Светлана узнала это место: это была знаменитая Кайская гора – городская окраина, за которой была пойма Иркута – место очень красивое, почти волшебное. Здесь были заливные луга и покосы, отличная рыбалка и первозданная тишина – среди роскошной природы и удивительной ясности и покоя. Отсюда в ясные дни запускали бумажных змеев, а самые отважные летали на аэропланах в открывающуюся многокилометровую перспективу. Красота тут была неопишуемая! Посёлок, захвативший эту гигантскую впадину, носил название Глазковского предместья. Это была настоящая деревня – с горланящими по утрам петухами, со свинюшками, свободно гуляющими по кривым улочкам, с ароматными печными дымами и с железными колонками, из которых жители носили домой чистейшую ангарскую воду. Кажется, время тут остановилось. А все страхи и невзгоды остались там, на другом берегу Ангары, где её бывший дом, где всем на свете заправляют люди в хромовых сапогах и где огромная мрачная тюрьма, в которой томится её Пётр. И зачем же это всё, когда совсем рядом такая красота и раздолье? Почему бы просто не жить и не радоваться яркому солнцу, и синему небу, и этому простору – темнеющим вдалеке горам и горящему под утренним солнцем Иркуту, берущему своё начало за триста километров отсюда, в отрогах снежных

Саян. Множество людей сгрудилось на узеньком пространстве и беспрерывно воюют друг с другом, всё выясняют, кто больше прав, а кто меньше, да кто лучше понимает международную обстановку и борется за счастье всех людей. Но так странно получалось, что борьба за всеобщее счастье оборачивалась гонениями и смертями – тех самых людей, за счастье которых все и боролись. Как это так случается, понять было очень трудно. От всех этих мыслей впору было сойти с ума.

– Мамочка, пойдём домой, я кушать хочу! – вдруг произнесла её трёхлетняя дочь. Она не плакала и не капризничала, лицо её было серьёзно, глаза глядели совсем по-взрослому. От этого взгляда всё перевернулось внутри у Светланы. Она подхватила дочь, прижала к себе.

– Сейчас, милая, мы пойдём. Я тебя покормлю. Потерпи немножко. Сейчас...

И она направилась к ближайшим домишкам, подчиняясь слепому инстинкту, который гнал её к простым людям, не рассуждающим о высоких материях, а просто живущим, исполняющим свои немудрящие обязанности, – к тем самым, на которых и держится всё в этом мире.

Светлана приблизилась к крайнему дому и тихонько постучала в окошко с крашеными деревянными ставнями. На подоконнике за чистым стеклом стояла розовая герань в глиняном горшочке, и всё здесь было так тихо и спокойно, так по-домашнему, по-деревенски, что она позавидовала хозяе-

вам. Вот как надо бы жить – где-нибудь на самой окраине, чтоб тишина и покой и никаких лозунгов, никакой погони за несбыточным счастьем. Счастье – вот оно – в этой тишине и незамутнённости, в косом солнечном свете, пробивающемся сквозь кроны тополей, счастье в придорожной пыли и в камнях, втоптаных в землю, оно – в петушиных криках, несущихся из разных концов теряющейся вдаль улицы.

Занавеска отдёрнулась, выглянуло круглое лицо пожилой женщины. Секунда, и лицо исчезло.

Через минуту женщина вышла на улицу, на добром лице её читалась тревога.

– Чего тебе, милая? – спросила она прерывающимся от одышки голосом.

Светлана судорожно сжала руки.

– Нельзя ли у вас купить молочка? И поесть чего-нибудь... Дочка голодная, а я ничего, мне ничего не нужно, только бы дочку накормить. – И она опустила голову, словно была в чём-то виновата.

Женщина всплеснула руками.

– Заходите в дом, что ж вы стоите! Есть у меня и молоко, и творог, и сметанка домашняя. Сейчас, я мигом наведу. Самовар-то я уже поставила. Тебя как зовут, красавица? – вдруг обратилась к девочке. Та застеснялась, подняла руку и стала тереть кулачком правый глаз.

– Её Ланой зовут, – подсказала Светлана. – Это она стесняется. А так-то она у нас бойкая! Уже говорить умеет.

– А я Нина Мартемьяновна! Ты меня не бойся, я добрая, – сказала женщина и вдруг широко улыбнулась. Щёки волной ушли назад, широкие скулы натянулись, лицо сделалось ласковым и немножко смешным.

Девочка ещё ниже опустила голову и пробормотала:

– Я и не боюсь. Сами вы боитесь...

Добрая женщина открыла калитку, и все трое вошли во двор, где важно расхаживали куры, вдруг останавливаясь, поднимая ногу и кося одним глазом на гостей.

Через десять минут все трое сидели на кухне за квадратным столом, накрытым чистой белой скатертью. На столе была сметана в глиняном горшочке, слипшийся творог в глубокой тарелке, небольшие сдобные булочки с налипшим и подтаявшим сахаром, малиновое варенье в стеклянной розетке, сахар в пузатой сахарнице; тут же стоял блестящий самовар, от которого шёл густой пар, а рядом – фарфоровый заварничек со свежим чаем. Девочка за обе щёки уплетала булочку, макая её в сахар и заедая густой сметаной; перед ней дымился в большой фарфоровой кружке чай, который она осторожно прихлёбывала, наклоняясь и вытягивая губы. Кухонька была маленькая, с одним окном во двор и большой печью, возле которой лежали навалом берёзовые дрова и стояла в углу закопчённая гнутая кочерга. В углу висел цинковый умывальник, под ним стоял эмалированный таз на деревянной чурке. Тут же и мыло на деревянной подставке, на гвоздике – белый рушник.

Светлана незаметно осматривалась, а хозяйка деликатно молчала. Она уже поняла, что у этой женщины с печальным лицом случилось несчастье, и уже догадывалась кое о чём. Сколько она видела таких лиц за свою долгую жизнь – не счесть! И теперь ей не надо было ничего объяснять. Если гостя захочет – сама скажет, а с расспросами нечего лезть.

Так оно и случилось. Когда с булками и со сметаной было покончено и настала пора уходить, Светлана вдруг переменялась в лице, сделала порывистое движение. Выражение стало просительным и каким-то беспомощным. В глазах показались слёзы.

– Нина Мартемьяновна, – почти задыхаясь, начала она. – А нельзя ли тут где-нибудь снять комнату? Ненадолго, хотя бы на несколько дней, пока мы квартиру найдём... – И она опустила взгляд, застыдившись этой невольной лжи.

Женщина строго глянула на неё.

– А чего тут думать? У меня живите. Вон комната стоит пустая. Сын в ней жил. Уже второй год в армии служит. А комнате чего пустовать? Только пыль разводить. Живите, сколько нужно будет. И мне веселее. Где и по хозяйству поможете. Куры вон у меня. Петух по утрам надрывается на всю округу. Беда с ним!

Светлана вся вспыхнула, глаза её широко раскрылись.

– Правда? Можно у вас остаться?

– Конечно, можно. Я и денег с вас не возьму. – Хозяйка обиженно хмыкнула. – Чего ж мы, нехристи какие? Оставай-

тес. Я ведь вижу – горе у тебя. Дочку мне твою жаль. Кабы не она... – Она махнула рукой и отвернулась.

Светлана опустила голову, стиснула зубы, чтобы не расплакаться.

– Спасибо вам, – едва проговорила. – Мужа у меня арестовали. А нас с дочерью из дома выгнали. И с работы уволили. Жить теперь негде. И денег у нас нет. Ничего нет...

Хозяйка внимательно слушала. Лицо её казалось строгим.

– Ты вот что, – взяла Светлану за руку, – живи тут, сколько потребуется. Я тебя не выгоню. А соседи будут спрашивать, говори, мол, племянница из Хомутово приехала погостить. Одежонку я вам справлю кой-какую. А если работать надумаешь, могу поговорить кой с кем. В клубе железнодорожников уборщица требуется. Вечером после сеанса вымыла полы – и свободна. Зарплата, правда, небольшая. И ходить далековато. Но ты молодая, сильная. Выдюжишь.

– А меня возьмут? – спросила Светлана, подняв лицо.

– Отчего же нет? – удивилась хозяйка. – А если и не примут, я сама оформлюсь, а ты работать будешь; деньги – все твои. У меня кассирша в клубе знакомая. Я попрошу её, она с завклубом поговорит. Поможет на первое время. А там, глядишь, и мужа твоего выпустят. И всё у вас наладится.

Светлана часто заморгала, на ресницах заблестели слёзы.

– Спасибо вам. Не знаю, что бы я делала, если б не вы. Это просто счастье, Бог меня услышал...

– Ну-ну, не надо. И не плачь понапрасну. Поди вон дочку

переодень. Я тебе воды сейчас нагрēju в тазу, помоешь её, а то она у тебя вся грязью заросла.

И она пошла к печке и стала укладывать дрова в топку.

– Я так и так уже топить собиралась. Ночи-то холодные стоят. Нынче до самой Троицы будут холода. Черёмуха ещё не зацвела, а как черёмуха отцветёт, так сразу тепло станет. Огород посеєм, лучок будет свой, редиска, огурчики. Курочки будут нестись. Да и я ещё работаю пока. Ничего, проживём!.. – Она ещё что-то говорила, а сама привычно готовила растопку и закладывала её в печь. Поленья гулко бухали в пол, поскрипывала железная дверца, и уже потянуло горьковато-сладким дымом, затрещало и засипело в чёрном зеве. В кухне сразу стало уютнее, словно бы добавилось света. Светлана взяла дочку за руку и пошла в дальнюю комнату, где уже всюю светило в окно утреннее солнце, отражаясь на круглых никелированных спинках железной кровати, укрытой толстым покрывалом с тремя положенными друг на друга подушками – совсем по-деревенски, по-старинному. Светлана вспомнила своё родное село и почти такой же дом – с приземистой печкой и крошечными комнатками. Точно так же пел петух по утрам и солнце косо светило в окно. Воспоминание придало ей уверенности. Как бы там ни было, а жить надо было – несмотря ни на что.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.